



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Москва: МЕСТО ВСТРЕЧИ



ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ
ЛЮДМИЛОЙ УЛИЦКОЙ, ДМИТРИЕМ ГЛУХОВСКИМ,
ДМИТРИЕМ БЫКОВЫМ, ДЕНИСОМ ДРАГУНСКИМ,
МАЙЕЙ КУЧЕРСКОЙ и многими другими
ОБ АРБАТЕ, ОРДЫНКЕ, СРЕТЕНКЕ, СОЛЯНКЕ, ТУШИНО, ВДНХ...

Людмила Улицкая

**Москва: место
встречи (сборник)**

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Улицкая Л. Е.

Москва: место встречи (сборник) / Л. Е. Улицкая — «АСТ»,
2016

ISBN 978-5-17-099718-3

Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия Быкова, ВДНХ Дмитрия Глуховского, «тучерез» в Гнездниковском переулке Марины Москвиной, Матвеевское (оно же Ближняя дача) Александра Архангельского, Рождественка Андрея Макаревича, Ордынка Сергея Шаргунова... У каждого своя история и своя Москва, но на пересечении узких переулков и шумных проспектов так легко найти место встречи! Все тексты написаны специально для этой книги. Книга иллюстрирована московскими акварелями Алёны Дергилёвой

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-099718-3

© Улицкая Л. Е., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Людмила Улицкая	6
Ольга Трифонова	10
Евгений Бунимович	20
Магазины и помойки	22
Екатерининский парк	24
Школы и больницы	25
Трубная	27
Кузнецкий Мост	29
Юрий Гаврилов	32
Андрей Макаревич	39
Владимир Березин	41
Марина Москвина	48
Марина Бородицкая	58
Мой дом	59
«Опять, опять дворами, вдоль помоек...»	60
Трехпрудный переулок	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Москва: место встречи (сборник)

Сост. Елена Шубина, Алла Шлыкова

*Нравится Москва
нравится Москва*

*и даже кажется
что всё не так страшно*

*Пожалуйста
Москва*

И пожалуйста

*Можете
Радоваться*

*Можете
Жаловаться*

Можете идти

Всеволод Некрасов

© Л. Улицкая, Д. Глуховский, Д. Быков и др., 2016
© Дергилёва Е.И., иллюстрации, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Людмила Улицкая

Моя Москва: сороковые – шестидесятые

Пятое поколение нашей семьи живет в Москве. Дед купил полдачи в близком пригороде, в Петровском парке, в начале семнадцатого года. Это был пригород, да притом с плохой репутацией. Низкопробные трактиры, публичные дома, знаменитый «Яр»... Сюда ездил развлекаться Лёвушка Толстой, пока не взялся за ум и не сделался великим русским писателем.

Дедушка мой учился в предреволюционные годы на юридическом факультете Московского университета, но не доучился. Революция грянула, и предложение поучиться еще год и выйти уже советским юристом дед не принял. Он ошибочно счел, что это безобразие продлится не больше года, но безобразия хватило как раз на всю его жизнь. Бабушка, окончившая гимназию в Калуге с золотой медалью, собиралась на Женские курсы, но родила мою маму, и образование ее гимназией и ограничилось. Бывшая эта дача, первое семейное гнездо моих деда и бабушки, простояла очень долго, до конца шестидесятых годов, но старики мои выехали оттуда еще в двадцатых, сначала на Садовую, на год-другой, а потом на Каляевскую, где почти всю жизнь и прожили. Под конец жизни их выселили, дали квартиру на Башиловке, то есть все в тех же местах, в десяти минутах ходьбы от их первого дома в Петровском парке. До сих пор остался небольшой пятачок от этого парка, он между метро «Динамо» и церковью Рождества Богородицы на Красноармейской улице. Отец мой, уже в тридцатых годах, работал на строительстве станции метро «Динамо». Рядом.

Я в Москве северянка – жила на Каляевской, потом на Лесной, теперь вот на «Аэропорте» уже тридцать лет. Я люблю север Москвы. Впрочем, ни старого центра, ни севера уже нет – только отдельные зубья в новой челюсти изредка встречаются.

Во многих городах мира северная часть города более пристойная, благообразная. Ну, во всяком случае, выезд по Волоколамскому и Ленинградскому шоссе, на мой глаз, куда как приятнее, чем по Варшавскому или Каширскому.

Москва исчезала на моих глазах, и тот город, который образовался в результате строительства и разрушений, мне не очень нравится. Совсем даже не нравится. Он утратил свой разляпистый, хаотический и мягкий облик, обаяние, складывающееся из соединения слобод, бывших деревень и усадеб, утратил свою кривоколенность и приватность, а до столичного города не дотянул по отсутствию городской культуры. Теперь скажем хором: А Большой театр? А Румянцевская библиотека? А Консерватория? С большой натугой – Английский клуб.... Не так уж много для столицы. Не Петербург.

Вспоминая о месте, где проходило детство, вступаешь во взаимодействие с ушедшим временем, с памятью. География ребенка расширяется очень быстро, и каждое такое расширение открывает новый мир – соседней квартиры, соседнего двора, керосинной лавки, до которой ходу целых десять минут, а прадед, опираясь на палку и звеня пустым бидоном, идет медленно. Я держусь за бидон. Он алюминиевый, к его крышке грубо приварено ушко...

Каляевская была окраинной улицей, то есть за Садовым кольцом. Мне нравилось это название – какой-то «каляй-валяй-катай» в ней присутствовал, а террориста Каляева в школе едва-едва проходили, но это будет еще не скоро... Про Каляевскую теперь забыли, она снова стала Долгоруковской, а из окраинной превратилась почти в центральную... И трамвай к Савеловскому вокзалу по ней давно не ходит, и станция метро «Новослободская» – помню открытие! – обветшала и давно ждет реставрации. И про Ивана Каляева забыли. А ведь какие славные были революционеры в добольшевистское время – пошел взрывать генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, подстерегал с бомбой в ситцевом

узле у Никольских ворот, у выезда из Кремля, заглянул в карету, а там, кроме приговоренного революционерами князя, сидели его жена Елизавета Федоровна и детки. И дрогнула рука, убравшись вместе с ситцевым узелочком. Шахиды всех времен руководствуются принципом «Убивший да убьет себя!» А этот деток пожалел и себя сам не взорвал, а казнен был через два года в Петропавловской крепости, «через повешание», после того как добрался-таки до генерал-губернатора...

Лет в шесть меня стали выпускать гулять во двор без надзора. Я брала санки – старые-престарые, с гнутой спинкой и мягким высоким сидением, обитым гобеленом с бомбошками. Наверное, мамины... И шла в соседний двор, на горку, что было запрещено. Горка была высокая, ледяная. Двор был чужой, двадцать девятого дома, а я была из тридцать первого. А соседи – всегда враги. Я знала уже, что идет вражда, а я была маленькой, и ко мне это как будто не совсем относилось.

Малышня скатывалась на санках, ребята средние – на своих задах, а самые шикарные и дерзкие – на ногах. А во мне, видно, с раннего детства проснулась постыдная тяга быть в первых рядах, себя показать... И страшно хотелось вот так, как большие мальчишки, на ногах. Два обстоятельства останавливали. Оставлю санки под горой – украдут. Но это второе. А первое – страшно было. Однажды, преодолев оба страха, съехала на зад, для ощущения близости горы, вероятно, а потом уж попробовала по-взрослому. Получилось отлично – и раз, и два. А на третий подставил мне ножку толстый парень из двадцать девятого двора, и я полетела кувырком и разбила себе нос нешуточно. Кровь хлынула, и шуба моя, пока до дому дошла, вся была в крови. Нос же мой практически перестал существовать отдельной единицей, а полностью слился со щеками. Санки же за мной катила дворовая подружка Женька и приговаривала: не велели же ходить в двадцать девятый...

Я с тех пор туда не ходила, стала понимать, что такое граница. Зато были и нейтральные территории – например, Миусский сквер. Он был метрах в трехстах от дома, и был он общий, неопасный. К тому же я туда ходила не одна, а с сопровождением. Сначала прадед отводил меня в прогулочную группу, где пятеро приличных деток гуляли под надзором «немки» Анны Юлиановны, женщины заковыристой судьбы, о чем мы и не догадывались. С тех времен у меня остался друг Саша и две подруги – Маша и Таня, которых давно уже нет на свете. Благодаря им завелась и первая детская компания, а также расширилось представление о жизни. У Тани с Машей была отдельная квартира без соседей, в Доме композиторов на Третьей, кажется, Миусской. До этого времени я полагала, что все люди живут в коммуналках, и даже не задумывалась, хорошо это или плохо. Так жили все.

Между бабушкиными и Жениными окнами рос ряд тополей и был проезд. Из моего окна была видна часть комнаты Жениной семьи – пол в лоскутах, стрекот швейной машинки. Тетя Шура была портниха. А Женя видела из своего окна часть бабушкиной комнаты – золоченый круглый столик, черный бок пианино и тоже швейную машинку. Первый в нашем дворе телевизор был со временем водружен на золоченый столик. Бабушка моя тоже подрабатывала шитьем, но ее продукция была классом выше, она шила грации, шелковые и «дамстовые» чудовища для обуздания необъятных телес певиц и начальственных жен. Жаль, не сохранилось ни одного изделия – для музея времени. Обе швеи – и тетя Шура, и моя бабушка – занимались подпольной экономической деятельностью и трепетали при упоминании фининспектора. Но семью кормить надо было обеим, невзирая на разницу в образовании и общественном статусе. Моя бабушка была дама в костюме, а тетя Шура «из простых». Великая вещь равенство.

Освоение пространства шло почему-то нелегально. Мне не разрешали ходить по улицам одной, но временами я совершала рейды по расширению мира. Добралась я самостоятельно до дровяных складов, оставшихся с тех пор, как в нашем районе – от Лесной улицы до Миусс – шла большая торговля дровами и строительным лесом. Тот склад на Миуссах

был из последних сохранившихся в Москве. Рядом раскинулась Котяшкина деревня – группа барачков с дощатой длинной уборной на много посадочных мест, с колонкой посреди двора и веревками, на которых трепыхалось рваное тряпье. Одежда. С девочками из Котяшки я потом училась в одном классе, они все рано заканчивали образование, после шестого класса никого уже не осталось. Кто в ремеслуху, кто куда... Одна вышла замуж за шведа из партийной школы, что стояла наискосок от нашей. Первая проторила дорожку. За ней следом и другие девочки положили глаз на молодых коммунистов, западных и восточных. Лучшая моя подруга выбрала себе самого лучшего – итальянца. Прекрасный брак оказался, до сих пор, глядя на них, радуюсь!

А однажды с подругой Женей зашли мы в Пименовскую церковь. Конечно, я тогда ничего не знала об интереснейшей истории этой церкви, которая долгие годы была «обновленческой». Боговерующая соседка моя Анастасия Васильевна ходила в другую, хорошую, я тогда не понимала, почему – а старушка была святее Папы Римского, и даже тень обновленчества была ей противна. Но мы с Женей пришли в Пименовскую однажды зимой, под вечер. Жене-то ничего – она русская. А я-то еврейка! Вдруг меня выгонят, если узнают? А дома что скажут, если узнают? Но в церкви было неземное пение, неземной запах и свет. Дух захватило! Шла служба, народу множество. Может, это был канун Сретенья? Я теперь уж не восстановлю. Хорошо бы, если Сретенье... Я люблю этот праздник и по сей день...

Да, вот что важное, о чем не сказала, – двор! С него-то все и начиналось, только он никакого отношения не имел к городу Москве. Он был весь деревенский, земляной, а у ворот была брусчатка. Стояла колонка, зимой во льду, летом в луже. Она исчезла к началу пятидесятых. Во дворе было множество строений, они окружали двор, как опята пень. Наш был самый приличный – флигель, относящийся к соседнему строению, дореволюционной постройки. Было в нашем флигеле четыре квартиры и винтовая лестница посередине, которая упиралась в чердак. Чердак был на замке, но иногда можно было туда пробраться. Там было страшно и интересно. Наш дом был в глубине двора, а тот, что выходил на улицу, был деревянный, ветхий, «допожарный», то есть стоял еще до Наполеона и уцелел при пожаре 1812 года. Я однажды туда зашла – там жил старик с самой большой библиотекой, которую я к тому времени видела. Почему-то запомнилось, что все книги были коричневые... Еще были бараки, сейчас не помню сколько, но к концу шестидесятых оставалось два двухэтажных. Но самое интересное – палисадники. У всех жителей первых этажей были свои золотые шары, а под осень и астры. Праздники дворовые справляли по-деревенски: расставляли длинный стол и на похороны, и на свадьбы. Свадьбу не помню, а поминки справляли, и напивались, и на гармошке играли. Моих не приглашали, думаю, по многим причинам, не только из-за того, что евреи. Больно культурные. Бабушку во дворе уважали, она ходила с сумкой и на каблуках в музыкальную школу на Пушкинскую площадь, где работала бухгалтером, и меня иногда с собой водила. Я с папочкой, на ней Пушкин выдавлен в овале. В папке ноты. Мой дворовый статус был довольно высок – может, из-за папочки, может, из-за бабушки. Бабушка всегда деньги одалживала соседям «до полочки». И вообще мы жили «чисто». Хотя и евреи.

Во дворе у меня стибрили георгиевский крест, отец моего прадеда получил за взятие Плевны, он двадцать пять лет в царской армии прослужил, у генерала Скобелева. Я лично виновата – ведь сначала я сама его стибрила из бабушкиной шкатулки... Хотела похвастаться.

Кроме географии окрестной, была еще география родственная – меня время от времени возили в гости: к бабушке Марии Петровне на Поварскую, которая называлась тогда улицей Воровского, и не все липы тогда еще умерли. Сейчас – ни одной. Один бабушкин брат жил (и до сих пор квартира его в полной и удивительной сохранности) в Воротниковском переулке, а второй – в доме Нирнзее. С домом Нирнзее в Большом Гнездиновском переулке связан

яркий кусок московской культурной жизни – с театром-кабаре «Летучая мышь». Бабушка Мария там бывала, когда начинала свою неудавшуюся театральную карьеру в Московском Свободном театре, у Марджанова... А мне в этот дом предстояло ходить в гости к замечательному человеку с разнообразными интересами, театралу, умнице и знатоку всего на свете Виктору Новацкому. В более поздние годы. Он был соседом бабушкиного брата, но теперь на свете нет ни того, ни другого.

К сестре другой бабушки, Елены, ходили на Сретенку, в Даев переулок. На Сретенке когда-то жили и другие родственники, как бабушка говорила, богатые. У них был кинотеатр. До революции, конечно. Еще была прабабушка Соня на Остоженке. Дом этот до сих пор стоит напротив Института иностранных языков. Я вырастала, и Москва становилась для меня все больше и интересней. Привозили меня в Измайлово, тоже к родственникам, в Лефортово.

Потом, уже в более поздние годы, в начале шестидесятых, я освоила район Хитровки-Солянки. Мама работала на Солянке в Институте радиологии и рентгенологии, в доме с кариатидами, там она и умерла. А я в шестидесятые годы работала в Институте педиатрии, лаборантом. Здание было старинное, в нем с XVIII века был воспитательный дом, первый в Москве. Я любила там гулять, Заяузые было чудесным, запущенным, до сих пор остались очень душевные уголки.

Теперь появилась в этом районе еще одна важная семейная точка – старший сын живет в Старосадском переулке, напротив церкви Святого Владимира в Старых Садах. Во дворе его дома не так давно поставили памятник Осипу Мандельштаму – это был один из его московских адресов. Здесь в тридцатые годы жил родственник Мандельштама. А теперь – мои внуки...

Зато семья младшего сына живет в пяти минутах ходьбы от нашего первого московского жилья в Петровском парке.

Москва от себя не отпускает. Ни один город на свете я не знаю так долго и так хорошо, как Москву. Я даже не могу сказать, люблю ли я Москву. Скорее, нет. Но нет и города роднее. Правда, очень часто приходится говорить: здесь была Собачья площадка... здесь была моя музыкальная школа... здесь был Минаевский рынок... Очень большая часть Москвы, для меня лучшая, отошла в прошлое. Хорошо, что Введенское кладбище, где похоронены мои старики, все еще стоит на прежнем месте.

Ольга Трифонова Миуссы

Оказывается, помню всё: как пахла мама, какой потертой была ее старая кожаная сумка, как с напряженным грустным вниманием мама смотрела на деньги, вспоминая, куда делись недостающие купюры.

Господи, почему у нас не хватало для них времени, почему мы раздражались на их наивные вопросы и бесконечные наставления!

Теперь, когда я стала такой же, я часто просыпаюсь утром с горькой мыслью: мамы нет, а бессонными ночами меня грызет запоздалое раскаяние.

Я помню, как садилось солнце за Белорусским вокзалом, какой белой, точно в снегу, была площадь перед ним в сорок третьем, четвертом и пятом.

Мама водила меня по утрам через мост на 1-ю улицу Ямского Поля (это здание недавно снесли), а площадь была белой от бинтов и простыней: раненых на носилках, в ожидании медицинских автобусов, клали на землю.

Я помню американские «студебеккеры» и вкус мягкой колбасы из железных банок, ее тоже присылали из Америки, я помню...

Я родилась и выросла на Миуссах. Загадочный топоним. Миуссы – это район возле Белорусского вокзала, там когда-то торговали лесом, и я еще помню дровяные склады на Лесной.

Миуссы представляют собой прямоугольник (а может, и квадрат), образованный 1-й Тверской (бывшей улицей Горького), Лесной, Новослободской и исчезнувшим Оружейным переулком.

Эти места описаны в романе «Доктор Живаго», неподалеку родился автор, там прошли мои счастливые и несчастные детство и юность.

Запах моего детства кому-то показался бы ужасным, а мы привыкли.

Дело в том, что непосредственно к моему дому номер восемь по улице Александра Невского примыкал ЦНИДИ – Центральный научно-исследовательский дезинфекционный институт.

В подвале существовал виварий с мышами, крысами и прочей нечистью, которую полагось травить.

Мы подглядывали в окна и видели, как женщины кормили вшей. На руке у них была стеклянная банка, а под ней – вши. Теперь понимаю, что только голодное послевоенное время могло родить такую профессию, а тогда... детская жестокая безразличность.

Мы что-то выкрикивали в окошко и разбегались.

Другое окно, которое тоже притягивало наше порочное любопытство, располагалось над пристройкой к родильному дому имени бездетной Н.К.Крупской. Из его раскрытых окон летом раздавались душераздирающие вопли, а за окном над пристройкой готовили рожениц: подготовка заключалась в осмотре и бритье причинных мест.

Мы, девчонки, проявляя стихийную женскую солидарность, отказывались подглядывать в это окно, но мальчишки во главе с Пиней Рыжим залезали на крышу пристройки регулярно.

Пиня вообще-то был не из нашей компании, хотя жил в одном из домишек напротив. Он болел чесоткой, и участь безотцовщины, проживавшего в трущобах дореволюционной постройки, была предопределена.

Довольно скоро Пиня отправился в свою первую ходку.

Трущобы простирались до крайнего дома по 1-й Тверской, носившего название «спичечный коробок».

Пересечь их можно было через вереницу проходных дворов с арками-туннелями, и я, каждый раз отправляясь к метро или от него, нарушала обещание, данное маме, не ходить «проходняшками».

Вечером, да и днем, пожалуй, это было чем-то вроде русской рулетки, но пронесло.

В «проходняшке» находился пункт приема стеклопосуды.

Весь год мы собирали пузырьки от духов и лекарств, в марте сдавали их в пункт приема стеклотары и на вырученные гроши покупали подарок матерям к Восьмому марта.

Обычно хватало на коробочку очень вкусных лимонных вафель.

«Проходняшками» мы бегали выстаивать в бесконечных очередях за мукой и сахаром к празднику.

Давали с изнанки гастронома, что располагался в «спичечном коробке».

Номер в очереди записывали чернильным карандашом на ладони, и мы отправлялись играть в «штандер» или «классики» на крышу гаража при доме, время от времени отправляя доверенное лицо поинтересоваться, как продвигается очередь.

Очередь продвигалась медленно, но мы радовались таким дням (школу прогуливали легально), мы радовались любому пустяку и совершенно не сознавали всего убожества нашей жизни.

Но однажды мне дали понять, что я пария, дали понять жестоко.

После ареста отца я по привычке пришла на елку в институт, где он работал.

Этот тоже Центральный институт, но по исследованию сахара, располагался в одном квартале с домом. Дом и принадлежал этому убогому институту. Ну вот я и пришла на детский праздник, и меня, в разгар веселья, лично вывел из зала директор института и по совместительству брат академика Виноградова.

Он подошел, взял меня за руку и вел до гардероба, не отпуская руки. Я только спрашивала: «А что я сделала?!»

Будь прокляты эти времена, но они были моим детством, моим – и ничьим больше!

Наша улица Александра Невского была тенистой и зеленой. Начиналась она от Лесной и упиралась в 3-ю Миусскую (ныне Чаянова).

А дом стоял на углу Александра Невского и 2-й Миусской.

На другом углу – с 3-й Тверской – росла самая большая липа, и под ней стоял круглый киоск.

В киоске продавали немыслимо вкусное фруктовое мороженое в картонном стаканчике и газированную воду с сиропом.

Задачей было выпросить ничтожные гроши, и пока был отец, я довольно часто бегала «к липе». Мимо руин храма Александра Невского, мимо загса, где меня по-советски «окрестили». Кстати, почти что нарекли Трибуной. Таково было желание отца, бывшего революционного черноморского матроса.

Мама – из других «бывших» (дед имел отношение к эксплуататорам) – проплакала десять дней, умоляя отменить решение и дать мне нормальное имя.

Выплакала, вымолила.

В сорок восьмом отца арестовали, и даже несчастные копейки на мороженое стали проблемой.

Но зато можно было бесплатно покататься на чудесных лифтах большого серого дома с эркерами. В него упиралась моя улица.

Лифты были красного дерева с замечательными кнопками слоновой кости.

Считалось, что до революции дом был кооперативом офицеров, и сейчас над подъездами красуется вензель ДО, но на самом деле он был построен обществом «Домохозяин».

У меня была мечта – побывать когда-нибудь в квартире этого дома: что-то в нем было достойное (сохранилось и до сей поры), какая-то выправка, что ли. Может, из-за этой выправки и числили его Домом офицеров.

Теперь я стараюсь исполнить все мечты и желания, те, что не случилось воплотить. И с домом я придумала: нужно прийти туда под видом покупателя квартиры.

Но самое главное: одну мечту он исполнил. В первом этаже его расположилась библиотека имени Юрия Валентиновича Трифонова.

Я всегда верила в рифмы судьбы и не удивляюсь тому, что большие окна библиотеки смотрят на «мою» улицу и что у одного из этих окон стоит письменный стол, за которым Юрий работал.

В Доме офицеров жил хороший поэт и, говорят, хороший человек Павел Васильев.

К Дому офицеров (будем называть его так) примыкает тоже дом с именем: Дом композиторов.

Он увешан мемориальными досками, и в нем когда-то жила моя любимая и талантливая подруга – поэт Таня Макарова.

Она очень рано вышла замуж и с мужем-художником жила в Доме композиторов.

Первый раз я увидела ее из окна райкомовской читальни (об этом периоде моей жизни ниже, а сейчас об удивительной, талантливой и глубоко несчастной Танечке).

Она была дочерью композитора Макарова, погибшего на фронте, и знаменитой советской поэтессы Маргариты Алигер.

Таня была бесконечно талантлива, но издательства отказывались печатать ее стихи, так как считали их пессимистическими.

Мне говорят: «Печать поставьте».

А слышу я: «Печаль оставьте!»

А с чего ее стихам было быть оптимистическими?

Таня ждала великой любви, а мужчины были практичны и неверны; она хотела внимания матери, но мать обожала младшую дочь Машу, которую родила от секретаря Союза писателей Александра Фадеева.

Над этой семьей тяготел рок.

Таня умерла, не дожив до сорока, Маша покончила с собой, ее отец застрелился, и только Маргарита Иосифовна, пережив всех, обрела на старости лет любовь и семью.

Тогда, в конце пятидесятых, Таня ходила на высоких каблуках и выводила гулять коричневого пуделя. Из его шерсти у нее потом была теплая безрукавка.

А гуляла она с псом по улице, названной потом именем отца ее сестры, причинившей ей много страданий.

Я любовалась ею из окна райкомовской читальни: ее хрупкостью, фарфоровым личиком, копной вьющихся волос.

Это был темный период в моей жизни, когда я была бесконечно одинока, не имела ни друзей, ни денег на кино, не могла находиться дома и потому проводила время в читальном зале Фрунзенского райкома.

Единственное доступное мне развлечение.

Я читала и смотрела в окно. Сейчас понимаю, что не таким уж плохим было то время. Во дворе райкома был яблоневый сад, о нем никто не знал, и яблони цвели только для меня.

Я прочитала много книг, много страдала и много думала.

Вообще с течением лет вдруг переменяются цвета разных времен: то, что казалось черным, видится светлым, и наоборот.

Но если бы знать!

С Таней мы через несколько лет оказались соседками по другому дому и могли часами болтать и часами играть в крестословицу под названием «скрэбл».

У нее не было телефона, и мы придумали сигнальную систему из разноцветных тряпок.

Красная означала «приходи срочно!».

Один раз Таня пришла ко мне рано-рано утром, убежав из психиатрической лечебницы.

Я очень любила Таню, но до конца понять и оценить не смогла.

Это совсем другая история, а тогда, в конце пятидесятых, тоненькая девушка, качаясь на каблуках, водила важного пуделя. Предчувствие необычайного.

Но вернусь в послевоенное, почти беспризорное, детство.

А еще между моим домом и Институтом сахара расположилось длинное помпезное серое и загадочное здание. Теперь понимаю, что принадлежало оно ГУЛАГу, и там со стороны 2-й Миусской был подъезд с жилыми квартирами.

Недаром здесь появлялся зловещий генерал Масленников.

Появлялся нечасто – высокий, красивый, в серой каракулевой папаше с красным верхом.

Нечасто, потому что «дела» с Северов не пускали, и жила здесь не жена, а зазноба – красавица докторша, что работала в роддоме напротив.

Они гуляли под ручку, статные, влюбленные, он – в каракуле и красном оперении, она – с чернобуркой на плечах.

В пятьдесят четвертом Масленников покончил с собой, а красавица (и очень милая к тому же) докторша продолжала трудиться на ниве родовспоможения еще долго. Подозреваю, что о «подвигах» генерала в лагерях ГУЛАГа она в те времена понятия не имела.

Наш дом тоже не был обойден жильцами необычными. И то же время от времени в дом приезжал академик Опарин.

Но он приезжал, наоборот, к жене: жил с молодой, а старушку (так нам тогда казалось) жену не оставлял, потому что был благодарен ей за то, что когда-то она выучила голодного бездомного студента Сашу.

Старушка Опарина единственная жила не в коммуналке, а в трехкомнатной квартире с домработницей Маней.

Маня была фигурой значительной и проходила как Обанина – так искаженно произносила она фамилию академика, автора марксистской теории происхождения жизни на Земле.

Наверняка к происхождению каким-то боком был причастен Сталин и уж точно Фридрих Энгельс со своей теорией белка.

К Мане почему-то подлизывались другие немногочисленные домработницы.

Например, наша Дуся.

Дуся помогала работавшей в две смены маме за еду и из благодарности к исчезнувшему отцу.

Когда-то до войны он, обладая какими-то возможностями, устроил ей комнатенку в Марьиной Роще.

Дуся была глупой, но характер имела легкий и доброжелательный. По совместительству она нянчила сына наших подселенных после ареста отца соседей, маленького и умненького Сашку.

Его она тайком угощала тюрей, и он часто просил: «Дуся, дай тюри!»

Мечтой Дуси была чернобурка как у докторши, но ей не светило, потому что работала Дуся коренщицей в столовой трамвайного депо имени Петра Щепетильникова. Оттуда она приносила жирный «стюдень», и под конец месяца этот «стюдень» был нашей основной едой.

Кто такой Петр Щепетильников, никто не знал, да и не интересовался особо, но все знали дешевый магазин при депо на Лесной.

Магазин имел прозвище «Трамвайка».

А вот что на электрической подстанции на 2-й Миусской, снабжающей депо током, работал Калинин, знали все.

Об этом сообщала гранитная доска на стене.

Михаил Иванович был председателем Верховного Совета, имел прозвище Дедушка и считался очень добрым.

Подстанция вызывала если не восторг, то уважение. Дом был красивым, он и сейчас выглядит импозантно. Промышленная архитектура конца XIX – начала XX веков была изящной и выразительной.

За большими окнами в светлых, идеально чистых залах бесшумно вращались маховики электрических машин.

Вообще 2-я Миусская улица была зеленой и тихой. Она и до сих пор такая. По ней я ходила в школу мимо деревянных заборов, за которыми стояли деревянные бараки и весной цвела сирень. В бараках жили татары, и татарские ребята не общались с нами. Девочки носили шаровары (зимой байковые), а поверх – форменные школьные платья.

Многие татары работали дворниками, и был один звук, присущий московским снежным зимам, – звук скребущей асфальт лопаты ранним утром. Очень уютный звук.

Там же, на 2-й Миусской, есть еще одно здание красного кирпича красивой «фабричной» архитектуры рубежа XIX–XX веков, бывшее училище имени Александра Второго.

В нем преподавал брат Антона Павловича Чехова Иван Павлович, и Чехов нередко бывал здесь, даже приехал переодеться после свадьбы.

А в самом конце, там, где 2-я Миусская упирается в 1-ю Миусскую, находилось ремесленное училище – страшный сон мальчишек-двоечников.

Училище было организовано еще до революции благородным дворянином Шелапутиным для осмысленного радостного труда. Там даже художественные кружки были.

В мое же время лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» будущие пролетарии были худыми, прыщавыми от недоедания, одетыми в серые убогие формы. И от отчаяния своей жизни, конечно, хулиганствовали.

Первая Миусская – улица моей школы № 174 – пропахла дешевой едой, потому что на углу Весковского переулка располагалась фабрика пищевых концентратов. Концентраты издавали аромат пшенной каши и свиных консервов.

Весь квартал между 1-й Миусской и сквером занимает Химико-технологический институт имени Менделеева, напротив него и располагалась моя школа.

Слева от нее до самой Лесной – дома тормозного завода и опять же НКВД.

В домах тормозного завода жили несколько тихих и бедных испанских семей, тех, кого детьми привезли из Испании во время Гражданской войны.

А в домах НКВД жили личности таинственные. Главы семейств почти всегда отсутствовали. Отца моей одноклассницы Наташи я, кажется, так никогда и не увидела, видно, занят был очень на Северах.

А отцом другой одноклассницы Эллы был, видно, большой начальник. Приезжал он редко, дома ходил в полосатой пижаме и щедро давал нам, девчонкам, деньги на театры и буфет.

В квартирах этих людей была красивая немецкая мебель, немецкая живопись и фарфоровые тарелки с рисунком-фруктами на стенах.

Я, конечно, только потом поняла, кем были папаши, но какое-то шестое чувство подсказывало, что интересоваться их профессиями не следует.

Отцы в классе мало у кого были. Кто погиб на фронте, кто сгинул в лагерях.

Или...

Однажды мама зачем-то взяла меня с собой в дом своей ученицы на Лесную рядом с Бутырской тюрьмой.

Мама преподавала в моей школе в начальных классах, и, видно, с какой-то из учениц были проблемы, вот мама и пошла к ней на дом после уроков, прихватив меня. И пожалела об этом. Я тоже.

Речь шла о чем-то темном и страшном. Отец ученицы, муж женщины, служил надзирателем в Бутырках и по ночам издевался над женой, делал что-то ужасное.

И все-таки школу свою № 174 напротив Менделавочки (так в просторечии называли Химико-технологический институт) вспоминаю с печальной нежностью.

Это была женская школа в полном смысле. Нет, два мужчины всё же наличествовали – учитель географии и, конечно, учитель физкультуры.

Почти все учительницы были одиночки; их одиночество скрашивали шефы – слушатели Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Таким образом, решалась и проблема одиночества партийных кадров.

Но они были одиночки временно, а наши училки – навсегда. Может, этим объяснялась их хотя и скудная, но бескорыстная женская щедрость.

А что они могли предложить со своими коммуналками. Лишь у одной – исторички Лии Львовны – была крошечная однокомнатная квартирка в деревянном домике на 5-й Тверской-Ямской. Там и встречались.

Иногда собирались у нас, так сказать, платонически, и мама с красавцем, ставшим потом хозяином Украины, замечательно «спивались».

Многие из них стали потом начальниками своих республик, членами ЦК, и многие надолго сохранили чувство благодарности к нищим училкам, надевавшим по кругу на свидания одну и ту же черную трофейную комбинацию и фильдеперсовые чулки.

Я, большая любительница подслушивать, знала об их личной жизни почти всё.

Ах, какие они были чуждые, как изо всех сил противостояли ужасу тогдашней жизни!

У химички сидел отец, у англичанки и исторички – мужья.

Директриса Вера Петровна вообще-то должна была их уволить, как и мою маму, но она этого не делала, а маме сказала, когда та, после ночи ареста и обыска, пришла заплаканная: «Теперь тебе надо работать за двоих».

У директрисы при школе была квартира, как в стародавние времена, ее тихий деликатный муж в чеховском пенсне на шнурке преподавал нам географию, и одно время в нашем классе учился их сын Юра.

Он был робким очкариком и умницей, и, видимо, в мужской школе его тиранили.

Учительница музыки – карлица Маргарита Ивановна – тоже приводила на уроки своего хорошенького, кудрявого, неведомо от кого прижитого сыночка.

У Маргариты был волшебный голос и бесконечная доброта, обращенная ко всему миру.

Но особенно она выделяла мою подругу Инну Макарову. Инну выделяли все, даже приبلудный скрипач Сергей Филиппович Иванский, мучивший богатеньких учениц концертом Рединга, чтобы сводить концы с концами, – даже он занимался с Инной бесплатно.

Сергей Филиппович жил на углу Садовой и Дмитровки в огромной коммуналке в старинном доме, занимал с женой комнату, а его отец спал в стенном шкафу в коридоре.

Сергей Филиппович знал лучшие времена, носил крахмальную манишку и пришитые к рукавам ситцевой рубашки крахмальные же манжеты, а над роялем висел большой портрет Элеоноры Дузе в красивой раме.

А Инну поцеловал Бог, она была талантлива во всем: в пении, в рисовании, в игре на скрипке.

Я очень любила ее и признавала без зависти ее очевидные достоинства, но дружба кончилась неожиданно и непонятно.

Однажды на перемене Инна отвела меня в конец коридора, где сквозь зашторенные стеклянные двери кабинета физики проникали солнечные лучи (помню как сейчас, будто не прошла вечность), и сказала как-то слишком отчетливо.

– Моя мать проститутка, – сказала она. – Она любовница своего начальника.

Отца у Инны тоже не было, а мать служила секретаршей у какого-то министра.

Мне ужасно не понравилось сообщение, и не только потому, что проститутки я представляла курящих, с подбитым глазом, а мать Инны была тоненькой, с ямочками на щеках, веселой и ласковой, – мне не понравилось, *как* Инна это сказала.

Мне не нужна была такая искренность, такое доверие, и Инна это почувствовала.

Наверное, я была неправа, но, к удивлению всего класса, мы разошлись спокойно и бесповоротно.

Теперь по долгу службы я бываю в доме, где она жила когда-то. Дом переделали под офисы, но высокие, на два этажа, окна на лестнице остались, и всякий раз, когда я поднимаюсь тяжело в свой департамент, я вспоминаю, как мы стояли у этого окна с Инной, а ее мать в какой-то очень милой шапочке-колпачке из голубого пуха сбегала вниз, на ходу роясь в сумочке, чтобы дать нам на мороженое.

– Только не ешьте на улице, ешьте дома!

Как и в любом районе, у нас на Миуссах был свой хронотоп. Но только вместо больницы – родильный дом, вместо тюрьмы – десятое отделение милиции (да и Бутырка располагалась рядом), торжище – Тишинский рынок неподалеку, а роль тетра исполнял Клуб имени Зуева.

Кем был Зуев, мы тогда не знали (не было «Википедии»), но справедливо подозревали, что, как и Щепетильников, Зуев имел отношение к революционному движению.

Сейчас можно узнать, что работал он в трамвайном парке напротив и принимал участие в событиях 1905 года.

Также мы не знали, что чудесное здание построил архитектор Голосов.

А клуб... клуб дарил счастье и чувство благодарности на всю жизнь.

Там впервые увидела фильм, это была лента «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли, и там я навсегда полюбила кино.

Там крутили трофейные фильмы с Марикой Рёкк и с Франческой Гааль («Хорошо, когда работа есть», – пела Франческа)...

И там за десять копеек мы бесцельно смотрели знаменитого «Тарзана». Это было какое-то всеобщее помешательство с этим фильмом о человеке, выросшем в джунглях.

Продавались маленькие фотографии-кадры героя и его возлюбленной Джейн; имя Читы – умной обезьяны-прислужницы – стало нарицательным.

А незатейливые стишки знал каждый пионер:

Не нужен мне панбархат,
Жоржет и креп-сатэн.
Пусть буду я одета,
Как маленькая Джейн!

Напротив клуба (но это уже вне границ Миусс) располагался особнячок – детская поликлиника. Там была маленькая мебель с хохломской росписью, и туда мы добровольно ходили лечиться. Родители нас не проверяли, но инстинкт подсказывал, что выживают здоровые, на больных у родителей не хватит ни сил, ни времени, и мы не пренебрегали даже отвратительной процедурой выбивания гнойных пробок из гланд после ангины.

Зимы в Москве тогда были холодными и снежными, в сумерках высокие, чистые сугробы отсвечивали розовым от окон и голубым в тени.

Переулок, который вел мимо клуба к поликлинике, другим концом упирался в Миусский сквер.

Тогда сквер казался мне огромным, и на него падала тень от грандиозных, в духе Пиранези, руин храма во имя Святого Александра Невского.

О Пиранези мы, конечно, понятия не имели, но руины притягивали, и мы, несмотря на запрет родителей, частенько наведывались туда.

Храм построили в честь отмены крепостного права; при советской власти взорвали и хотели на его месте построить крематорий; не успели – началась война.

В пятидесятые храм разобрали и построили, скучной архитектуры, Дом пионеров.

А Миусский сквер остался, но теперь по его аллеям гуляют не слушатели Высшей партийной школы в габардиновых пальто и нахлобученных шляпах, а студенты Гуманитарного университета, ну и, конечно, мамы с колясками.

Я изредка проезжаю мимо и всегда ощущаю что-то застарелое: то ли боль, то ли негодование.

Первый обман. Незабываемый во всех подробностях.

Я владела драгоценным сокровищем – волшебным мячиком из «американского подарка». Мячик подскакивал непредсказуемо, то есть высота подскока не зависела от силы удара. Ударишь как следует оземь, а он еле поднимется, слабо ударишь – подлетает высоко-высоко.

Это было не просто чудо – это была моя единственная игрушка.

И вот одна девочка попросила этот мячик дать ей домой поиграть до завтра. С ней была мать, и я поверила.

Дело было на Миусском сквере возле подземного туалета.

До сих пор помню, как на следующий день я до сумерек простояла возле входа в этот самый бетонный туалет, как неожиданно поняла, что девочка не придет! Что она *об-ма-ну-ла!*

Я была потрясена.

Эту историю любил Юрий Валентинович.

Кстати, одно время он частенько пересекал сквер: ходил в «Политиздат», где издавали его роман «Нетерпение» и где у него был еще один роман.

Но пора рассказать и о доме, где я родилась и где прожила почти четверть века.

Сейчас он входит в комплекс какого-то министерства. В одной из комнат нашей бывшей квартиры прорубили добавочное окно, а на окнах полукруглых эркеров лестницы, где я

за батареями прятала навязанные мамой галоши, а иногда и теплые байковые штаны, висят богатые кремовые занавески-маркизы.

Много еще чего происходило в этих эркерах: первый поцелуй, первые слезы разлуки...

Дом был странным. Принадлежал он Центральному институту сахара, имел пять этажей.

Четвертый был с коридором на два подъезда; там располагалось общежитие.

Там жила моя любимая собака Радж, большая красивая немецкая овчарка.

А странность дома заключалась еще и в том, что он был словно бы не достроен, словно бы брошен второпях, будто то ли денег не хватило, то ли война началась.

Полы были цементными, а ванная и кухня занимали единое пространство, хотя для ванной было предусмотрено узкое окно.

У нас ванна была закрыта досками, и на них спали многочисленные родственники мамы, когда приезжали с Украины.

А в квартире профессора Петербургского его жена Юзефа Карловна разводила в ванне кроликов.

Окна в обеих комнатах выходили на улицу Александра Невского. Только одно смотрело как бы вдаль, на храм, а другое – на трущобы Пини Рыжего. На их месте потом построили престижный дом для партийцев, и в нем одно время жили Ельцин и поэт Анатолий Софронов.

А после войны между трущобами и Красной коммуной (гнездом хулиганов и бандитов) – теперь там общежитие Щепкинского училища – умещался «поленовский дворик» с садиком и одноэтажным домиком.

В нем жили наш участковый и другие милиционеры десятого отделения.

Участковый был хорошим человеком. Когда отец вернулся из лагеря и не имел права жить в Москве, участковый, которому положено было проверять, не нарушает ли отец закона, медленно-медленно шел по улице и долго стоял у подъезда, чтобы отец мог спрятаться у соседки Доры Ильиничны или в стенном шкафу.

Фамилии участкового не помню, а жаль, потому что, как писал Юрий Валентинович, «бывают времена величия малых поступков».

Наш дом населяли в основном люди, имеющие отношение к сахарной и спиртовой промышленности.

Ну и дворники, конечно.

Вот с них и начну.

В полуподвале жила тихая и трудолюбивая семья дворника Крысина. Его умненький сын редко играл с нами в «штандер» и «ручеек», а всё больше читал, поэтому дружил он с Сашей Петербургским, с третьего этажа, тоже большим книголюбом.

В другом полуподвале жили какие-то невнятные люди.

Их сын – даун по прозвищу Бяка – всегда торчал в окне.

А потом, конечно же, Пиня Рыжий научил его онанировать, и Бяку убрали от окна.

На первом этаже жила знаменитая московская красотка Нина Глушко.

Она считалась «плохого поведения», потому что была очень хороша собой, имела множество ухажеров, одевалась на американский манер и косила под Дину Дурбин.

Она и сама была ничуть не хуже Дины.

К ней приходили подруги, похожие на Зару Леандр или Вивьен Ли.

Среди ухажеров Нины был и какой-то знаменитый московский француз, он приезжал на голубом «шевроле», и этот автомобиль затмевал «ЗИЛ» академика Опарина.

Нина вышла замуж за венгра и уехала в Венгрию; я встретила ее через много лет в Будапеште, она была по-прежнему хороша, имела двоих детей, блестяще переводила книги и конгрессы.

Муж занимал большой пост в венгерском МИДе.

Другая красавица появлялась редко, и приезд ее становился большим событием в жизни двора.

Красавец, морской офицер Котик Пилецкий, был женат на актрисе Татьяне и привозил ее к маме.

У Татьяны были русалочьи глаза и пышные вьющиеся рыжеватые волосы.

Мы забрасывали мячик к ним в окно, чтобы посмотреть на нее, и она всегда бросала нам мячик назад не раздражаясь, с улыбкой.

Какие же еще радости были у нас на Миуссах?

А сама жизнь и была радостью.

Вечерние игры на тихой улице со старыми липами (липы исчезли), пирожное «корзиночка», которое приносила сестра «со стипендии», походы за книгами на улицу Горького в отличную библиотеку районного Дома учителя.

Это было удивительное заведение, расположившееся в бельэтаже старинного дома. С чудесной залой, отделанной мрамором и огромными зеркалами, с замечательным огромным стеклом-витриной с матовым узором. Через эту витрину в вестибюль проникал дымный свет с улицы.

Всё это пережило революцию, Гражданскую войну, Отечественную и было беспощадно испоганено пресловутым банком «Столичный».

Чудесная витрина выбита, вместо нее – уродливый вход в какое-то учреждение, в окнах волшебной квартиры горит мертвенный дневной свет и висят гнусные офисные жалюзи.

Что еще...

Да, в конце войны стали давать вещи из американских подарков, и дворовая мелкота приоделась.

Да и взрослые тоже.

Мне достались маркизетовое платье с крылышками и лаковые туфельки. Сестре – голубое шерстяное платье. Она его носила лет пять, до конца учебы в университете.

А Бяка появился в роскошном свитере с оленями.

Помню, как хоронили убитого бандитами участкового, помню празднование восьмисотлетия Москвы, отец повел меня на Красную площадь. Последний наш совместный праздник – вскоре его арестовали.

Теперь Миуссами владеют троллейбусы, они стоят повсюду, спокойные, с плоскими, как у восточных божков, лицами.

Они немного похожи на аэроплан, который тоже спал среди дня на Миусском сквере, а к вечеру приходили девушки в военном и уносили его на дежурство.

Мне очень хотелось увидеть, как он поднимется в небо, и один раз я увязалась за процессией. Было мне лет пять-шесть, меня где-то перехватили и вернули домой. Как и где это было – не помню, а вот наказание помню хорошо: меня заперли в уборной.

Глупо... ведь я шла за мечтой.

Евгений Бунимович

Неглинка: фрагменты одной жизни и одной реки

Сюда меня привезли прямо из роддома – в деревянный дом, который в недолгий период нэповской вольницы построили вскладчину несколько приятелей, среди которых был и мой дед.

Как и большинство мест, начинающихся с «ново-», Новосущевская – весьма старая московская улица, проложенная по руслу Неглинной реки от Марьиной рощи к Селезневке.

Так что можно сказать, что родился я на берегу реки, хотя бумажных корабликов по течению не пускал, да и самой реки никогда не видел – ее загнали в трубу и убрали под землю еще два века назад, при Екатерине II.

Нынешняя натужная имитация Неглинки с ошалелыми церетелевскими зверушками у кремлевских стен – не в счет. Это водопровод.

Подземная, потаенная, настоящая Неглинка проявляет себя на поверхности иначе – в не характерной для московских широт активной растительности.

Новосущевская вся в вековых тополях.

Зимой улица моего детства утопала в снегу, да и летом она была вся белая, вся в тополином пуху, который мы, конечно, поджигали. Огонь шел далеко вдоль улицы. Ужас (как я теперь понимаю) – дома-то были деревянные. Зато как красиво, опасно, неизбежно – ползущая вдоль тротуара извивающаяся кромка огня...

Я уже школу заканчивал, когда пришла бумага, что дом наш будут сносить, а на его месте возведут трансформаторную будку. Нас выселили. Дом снесли. Стоит ли добавлять, что будку за прошедшие с тех пор полвека так и не построили?

По свойственной жителям моего великого города знаменитой московской лени ни один ансамбль тут никогда не достраивали, ни один проект не завершали. Надо признаться, что и забивающий пухом глаза и ноздри, а также решетки радиаторов и вентиляционных труб тополь выбрали москвичи (и засадили им весь город) всё по той же лени своей – потому как дерево это неприхотливое и ухода не требует. Само растет.

Теперь в целях борьбы с пухом тополя обрезают дважды в год по самое «не могу», оставляя только сиротливые обрубки стволов. Однако тополя бывают мужские, а бывают женские. Пух выпускают, как нетрудно догадаться, только женские особи. А вот если по ошибке обрезать особи мужские, они могут превратиться в женские и так же завалить всю округу пухом. При этом биологи утверждают, что тополя меняют пол не потому, что после обрезания лишаются гендерных признаков, а потому что «испытывают стрессовое воздействие». Тут, пожалуй, есть над чем задуматься.

Не могу понять: где же он помещался меж этими разросшимися тополями, казавшийся мне таким огромным домом? А ведь здесь был еще двор – большой, обжитой: дощатый стол со скамейками, белье на веревках, тропинки, клумбы, палисадники, темные углы, таинственное заброшенное бомбоубежище, точильщики, оравшие про «ножи-ножницы», старьевщики, ходившие по квартирам (я их боялся). Целый мир.

Однажды наш дом обновили – темные бревна обшили новыми досками. Дом помолодел и поскущнел. Заодно и тропинку от нашего подъезда до улицы городские власти решили цивилизовать – покрыли асфальтом. А там грибница была, шампиньоны росли.

Летом в асфальте обнаружилась маленькая трещина, потом шляпка вылезла. Меня это поразило – шампиньон (мягкий) пробил асфальт (твердый).

Гриб срезали, в асфальте образовалась дыра, ее замазали. Потом еще один шампиньон вылез, еще один. Осенью уже весь асфальт был в дырах, и по жалобе жильцов всё опять утрамбовали, заасфальтировали.

На следующий год шампиньоны снова пробili асфальт. Так продолжалось несколько лет, пока городские службы наконец не сдались.

И когда я теперь слышу привычные жалобы, что всех и вся закатали под асфальт...

Магазины и помойки

Я – упитанный домашний ребенок, дошкольник, и мне разрешили самостоятельно покидать пределы двора и идти за хлебом!

С мелочью, зажатой в ладони, я отправлялся в булочную, именовавшуюся в народе «Три ступеньки». Вообще все окрестные магазины имели типовые вывески и совсем не типовые народом данные имена: «Курников», «Швейников», «Угловой», «Три ступеньки»...

– Где брали?

– В «Угловом».

«Угловой» и «Три ступеньки» понятно, почему так именовались, а вот так естественно рифмующиеся «Курников» и «Швейников» имели совершенно разную этимологию.

Как выяснилось много лет спустя, Швейников – это не фамилия, а родительный падеж множественного числа. Всё, что осталось от некоего профсоюза швейников времен позднего нэпа.

А вот Курников – это фамилия владельца. На торце курниковского дома на Новослободской до недавних пор сохранялась роскошная, дореволюционная, выложенная керамическим кирпичом надпись: «Мясная и рыбная торговля», которую очень любили киношники.

Эта вывеска постоянно мелькает в советских фильмах про старое время – ближе к финалу от «Мясной и рыбной торговли» идет неременная панорама вниз, чуть наискосок, к сквозному проходу во двор, выложенному той же тревожно поблескивающей в ночи керамикой. Там, в проходном дворе, и настигают всех шпионов, бандитов, вредителей.

Но для меня важнее была, естественно, не сама булочная, а дорога к ней. Это был мой переход Суворова через Альпы, перелет Чкалова через океан. По дороге поджидало так много всего интересного и опасного: кусты, задворки, помойки, местная шпана...

О помойках стоит рассказать отдельно.

Украшением помойки на заднем дворе автобусного парка был вросший в землю скелет брошенного автобуса – наша ржавая беседка без окон и дверей, наш клуб по интересам. С дырявой крыши того автобуса можно было дотянуться до открытой фрамуги и с целью поиграть в прятки залезть в закопченный, зачуханный, насквозь провонявший бензином и соляжкой Бахметьевский гараж, позднее оказавшийся шедевром мировой архитектуры XX века, который проектировали сразу два гения – гений русского авангарда Константин Мельников и гений русской инженерной мысли Владимир Шухов.

Безвинно пострадавшие автобусы сослали на край города, а в отмытом и отреставрированном гигантском конструктивистском параллелограмме открыли сперва гламурно-продвинутый центр современного искусства «Гараж», а теперь – Еврейский музей, полный медиа-чудес, включая сотворение мира в 4D с натуральным землетрясением и всемирным потопом.

Прямо напротив дома находилась еще одна помойка. Точнее, напротив в сером сталинском ампире с приземистыми колоннами располагается МИИТ – институт инженеров транспорта, а на заднем дворе жива инженерная помойка моего детства – совершенно необыкновенная. Из митовской помойки всегда можно выудить пестрые мотки проволоки, обрезки железа, обломки загадочных механизмов немыслимой красоты и пользы.

Большинство моих соотечественников по сей день не понимают и не принимают всяческие безобидные мобили и прочие скульптурные абстракции, воспринимают их как посягательство на святое. А для меня это свое, родное, из детства.

Деревянная моя улица упиралась в Сущевский Вал кривоватым сараем, гордо именовавшимся «Кинотеатр „Мир“». Потом, ко Всемирному фестивалю молодежи, в самом центре Москвы на Цветном бульваре (на берегу всё той же невидимой миру Неглинки) воздвигли

новый роскошный панорамный (ныне обветшавший) кинотеатр «Мир», а наш переименовали в «Труд».

Следом за «миром» и «трудом» в тогдашней советской мантре-скороговорке шли еще свобода-равенство-братство-счастье, так что перед нашим киносараем открывались широкие перспективы. Однако до счастья так и не дошло – теперь на этом месте торчит покрытый веселеньким пластиком бизнес-центр.

Неподалеку от сиротливого «Труда» стоял еще один деревянный сарай, выкрашенный в голубой цвет, – синагога. Единственная, между прочим, синагога, появившаяся в славном отечестве за все советские годы. Сюда мы с бабой Эсей раз в год шли за мацой. Властью такое никак не одобрялось, в предутренней молчаливой очереди ощущался налет запретности – что-то потаенное, обреченное, спрятанное глубоко-глубоко. Как Неглинка.

От того деревянного мира и труда здесь не осталось ничего, кроме вышеупомянутых тополей.

Новая семиэтажная синагога с интернет-кафе и тренажерным залом, недавно открытая на месте той, старой, уже не лыком шита, не досками обшита, а выложена иерусалимским камнем – как Стена Плача. Так-то.

Екатерининский парк

Пруды в парке – единственное свидетельство о Неглинной реке на поверхности земли.

В этом парке в маленькой частной группе я гулял в дошкольные времена. Тогда он назывался садом ЦДСА (Центрального дома советской армии). Сам дом не дом, а огромный дворец, «загородный двор» графа Салтыкова с палатами и регулярным парком, позднее выкупленный в казну для Екатерининского института благородных девиц. Девиц в ходе революционно-рейдерского захвата выкинули мужчины в форме, устроившие здесь Дом армии – сначала красной, потом советской, теперь российской.

В группе, гулявшей по саду вокруг пруда, нас было пятеро дошколят: Сашка, сын поэта Давида Самойлова, Коля Шастин, будущий детский хирург Филатовской больницы, и две девочки, след которых утерян во времени и пространстве (пятый – я).

В типичном городском саду ЦДСА мороженое накладывали в вафельные стаканчики, парочки, юные и не очень, плавали на лодках (залог – часы). Культуре и отдыху верно служили также качели, голубятня, читальня (летом), каток (зимой) и даже мини-планетарий.

Паркам не свойственно меняться так, как городским улицам. И сегодня умиротворяет гуляющих всё тот же пруд, полный уток и лодок, свежавыкрашенные к лету беседки, заброшенный планетарий, уже почти невидимый за разросшимися деревьями, и всё та же скульптура «К звездам» – главное место свиданий и встреч (если кто потерялся). Скульптуру установили полвека назад – на волне энтузиазма и чистого восторга перед запуском первого спутника Земли.

«Подобно Прометею, несущему огонь человечеству, в скульптуре запечатлен молодой, полуобнаженный и могучий титан в набедренной повязке. Словно факел запускает он в небо ракету, которая устремляется в бесконечную синеву навстречу новым открытиям и приключениям».

Бодибилдинг тогда еще не практиковали, поэтому могучий титан в набедренной повязке вышел у скульптора несколько худосочным. Упражняясь с нашей бонной Адой Ивановой в устном счете, мы ему ребра пересчитывали.

Школы и больницы

Французская моя школа (спецшколы тогда только входили в моду) стояла ниже по течению Неглинки по трубе – на улице Достоевского, бывшей Божедомке.

Атмосферу школы задавали местные «французенки» – учительницы французского языка. Их было много, и на каждой лежала своя печать нездешности, тень иного мира, отгороженного от нас, советских пионеров, глухим железным занавесом.

Если вдуматься, само по себе тщательное изучение французского языка и французской истории, географии, литературы было в те времена занятием весьма странным. С наименьшим успехом можно было подробно изучать язык древних шумеров или одного из исчезнувших племен американских индейцев.

Французенки наши сами никогда во Франции не были. При этом они тщательно отрабатывали нюансы произношения и грамматических форм французского языка, досконально изучали с нами план Парижа, по которому никогда не бродили.

Это был настоящий театр абсурда, рядом с которым дистиллированный абсурд Беккета-Ионеско кажется вершиной соцреализма, – но тем незамутненней, тем прекрасней был творимый ими миф Франции, избавленный от каких бы то ни было бытовых подробностей...

А школа и сейчас стоит, и сейчас французская – прямо напротив больницы, прославившейся тем, что в ее флигеле провел первые шестнадцать лет своей жизни сын здешнего штаб-лекаря Федя Достоевский.

Гранитный Достоевский работы скульптора Меркурова, спрятанный за больничной оградой в глубине двора, много старше и много пострадавший. У подножия гения всегда, в любую погоду беспокойно, нервозно, зябко, особенно если встретишься с ним глазами – что неудивительно, ведь, как свидетельствует впечатлительный поэт Сергей Городецкий, каменный писатель «вглядывается в последние бездны человеческого духа». Впрочем, тут с поэтом можно и поспорить. Как известно, позировал для памятника Александр Вертинский. Кто же из двоих теперь в бездны вглядывается?

Первые свои годы печальный памятник провел не здесь. В больницу его без лишнего шума отправили в 1936 году, когда Достоевский в очередной раз оказался не ко двору. Стоит ли добавлять, что до того писатель стоял на Цветном, то бишь тоже на Неглинке – и значит, перемещали его строго вдоль русла подземной реки.

Не в этих местах открывали и стоящий ныне совсем рядом с «достоевской» больницей, в скверике на площади Борьбы, памятник Веничке Ерофееву и его рыжеволосой подруге, которая с косой до попы. Памятник мы сначала открыли, естественно, на Курском вокзале. Точнее, бронзовый Веничка встал на перроне Курского, а возлюбленная – на станции Петушки. Получился самый длинный памятник в мире. Но руководство ж/д идею не оценило и велело парочку нелегалов убрать.

Так что Веничка смог наконец добраться до своей подруги. Но все равно герои оказались разделенными – невидимая граница столичных округов проходит между ними, Веничка оказался в Центральном округе столицы, а красавица из Петушков – в Северо-Восточном. Впрочем, остается надежда, что чиновник, сообщивший нам об этом прискорбном факте на официальном бланке мэрии, ошибся. «Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться» – гласит надпись на постаменте памятника.

За полвека эти места мало изменились. Даже трамвай, воспетый Давидом Самойловым в поэме «Снегопад», всё так же гроыхает... В ностальгическом угаре мы отметили этот факт с Сашей и Колей Шастиным, когда открывали мемориальную доску поэту, который жил рядом, в угловом доме на площади Борьбы («Борьбы с самим собой» – как шутил Самойлов).

А «достоевская» больница тут не единственная. Здесь много больниц. Одна как раз по дороге от моего дома в школу. Туда и привезли бабу Эсю. Она попала в больницу первый раз в жизни. Я даже не помню, чтобы баба Эся до того дня болела.

Мама ходила в больницу каждый день, говорила, что мне тоже надо бы зайти. Думал, успею – куда торопиться? В детстве есть более важные и интересные дела. Не успел.

Трубная

Вроде нет Неглинной реки, и вроде – есть. Иначе откуда названия улиц – Самотека, Трубная, Неглинка, Кузнецкий Мост...

Да еще и Трубная площадь – с ее никудышной репутацией (смертельная давка на сталинских похоронах, регулярные наводнения) и неслучайным (о чем ниже) желанием заменить звонкое «б» на глухое «п».

И все-таки это одно из самых любимых моих московских мест, Труба – единственная в городе площадь, откуда во все четыре стороны уходят бульвары, обрамленные кривоватыми, приземистыми, такими нестоличными, такими московскими домами.

Особенно хорош неожиданный в пологой Москве резкий подъем Рождественского бульвара. Высокий берег без реки. Даже местному недострою – беззаконному павильону посреди бульвара в стиле курортного рококо – кажется, не удалось dokonать эту красоту.

Справа – Рождественский монастырь, у стен которого наполеоновские солдаты расстреливали поджигателей Москвы, слева, на углу Цветного, – еще одно недавнее чудище, но уже размера XXL. «Бизнес-центр класса „А“ и элитные апартаменты „Легенда Цветного“» настойчиво рекламировала на всех каналах супермодель Наоми Кэмпбелл. Знала бы чернокожая звезда, какую легенду пиарила....

Ведь именно здесь (свидетельствует Гиляровский) было самое страшное место в городе – трактир «Адъ». «По гнусности, разврату и грязи он превосходит все притоны...» – вторит скитавшийся по здешним ночлежкам писатель Михаил Воронов. Трупы из «Ада» ночами спускали непосредственно в трубу Неглинки.

Позднее это гиблое место было безошибочно выбрано Московским горкомом КПСС для строительства Дома политпросвещения, а в постсоветское время его преобразовали в Центр обучения избирательным технологиям (тоже неплохо). Потом захотели было возвести на обломках «Ада» политпросвещения и избирательных технологий что-то уж совсем грандиозно-парламентское – но и здесь всё закончилось бизнес-центром.

У этих мест издавна дурная слава. Еще в середине XIX века тогдашний московский генерал-губернатор, вспыльчивый самодур граф Закревский, отдал приказ: «...Найдя, что Трубный бульвар служит притоном мошенникам и проституткам, а по способу посадки деревьев полиции затруднительно иметь за ним наблюдение, приговариваю его к уничтожению». Стилистика городских властей схожа во все времена: уничтожить было велено не притоны с мошенниками и проститутками, а деревья на бульваре. Все деревья спилили, а бульвар на всякий случай переименовали в Цветной.

В прошлом году Цветной весь перекорежили в ходе очередной масштабной переделки. Один из водителей комбайнов-землероек хватанул, видимо, лишнего – и внезапно обнажилась аккуратная дыра, путь в подземелье, в Неглинку, в «Адъ». Вскоре всё снова замуровали, но пару дней можно было, заглянув в преисподнюю, увидеть старое кирпичное русло реки.

Направо от Цветного – Петровский бульвар с погорелым театром на углу, некогда знаменитым рестораном, родиной неизбежного теперь салата «Оливье».

Петровский бульвар – это еще и шальная моя молодость. Гуляли поэты обычно на кухне у Марка Шатуновского, которого выгодно отличала от всех нас огромная квартира с персональным выходом на Бульварное кольцо. Вообще-то за семейством Марка числились две комнаты в коммунальной на десять семей квартире с общей уборной, располагавшейся под чугунной лестницей каслинского литья, однако всех соседей переселили, а шатуновское семейство дальновидно застряло, и вся безразмерная коммуналка была в нашем распоряжении.

Марково семейство в итоге всё же выселили, но дух андеграундного искусства выселить не удалось – именно здесь возникла тогда первая перестроечная арт-коммуна, сквот Александра Петлюры «Заповедник искусств на Петровском бульваре» с его легендарной пани Броней.

Кузнецкий Мост

Моста, как всем известно, нет. Следы его не так давно обнаружили при реконструкции улицы, долго думали, что с ними делать, – и снова закопали. Реки тоже нет. Зато всё так же плачет, склонившись над отсутствующей рекой, неожиданная посреди городского асфальта старая ветла. О чем плачет она перед главным зданием Банка России? О канувшей в подземелье реке? О канувших в нее сбережениях моих сограждан?

Лучше б не копили на черный день, лучше б пошили на свои кровные сарафаны и легкие платья из ситца – тут же, за углом, на Кузнецком Мосту, где «вечные французы», Дом моделей и ателье «Люкс», семейная наша легенда.

...С войны, с передовой вернулся папа в мае 45-го с трофеем, выданным на складе под расписку, – роскошным отрезом крепдешина (белые лилии на сиреновом фоне). Вернулся в аспирантуру мехмата МГУ, где вскоре и познакомился с мамой – студенткой того же мехмата, вернувшейся с университетом из ташкентской эвакуации.

После свадьбы отрез долго томился в диване – мама мечтала сшить шикарное платье в том самом лучшем в городе и во всем СССР ателье «Люкс», что на Кузнецком Мосту. Но пробиться туда было совершенно невозможно.

Наконец ее подруга нашла ходы в это модное ателье. Сговорились ехать вместе.

Мама мыла на кухне посуду, размышляя о фасоне будущего платья, когда по радио объявили, что умер Сталин. Тут она, во-первых, безутешно разрыдалась, а во-вторых, не зная, как бы еще выразить скорбь и значимость момента, бросилась в комнату и велела моему мирно болевшему корью старшему брату встать в его детской кроватке по стойке смирно.

Не знаю, сколько бы он так простоял, но вскоре пришел с работы папа.

Увидев, что мама рыдает, а больной ребенок в своей кроватке почему-то не сидит и не лежит, а стоит руки по швам, он спросил озабоченно:

– Что случилось?

– Сталин умер, – еле смогла выговорить мама, утирая обильные слезы.

– Идиотка, – сказал папа и уложил ребенка на место.

Однако мама моя не была бы моей мамой, если бы уже на следующий день (а это и был великий день записи в ателье) они с подругой не поехали через всю Москву на Кузнецкий, в заветный «Люкс».

Молодые, счастливые, в предвкушении долгожданного платья, с отрезом крепдешина, пропахшим нафталином после многолетнего заточения в диване, они не обращали внимания на пугающую пустоту московских улиц...

Только войдя в ателье, где в абсолютной тишине и полном отсутствии клиентов сидели приемщицы с опухшими красными глазами, две модницы слегка отрезвели и наконец испугались.

– Вам чего? – мрачно спросила самая главная приемщица.

Поскольку блат был у подружки, та начала:

– Ну вот, знаете, мы...

Тут-то мама, еще вчера рыдавшая навзрыд и чуть не рвавшая в отчаянии свои прекрасные волосы, сообразила, что в стране-то горе великое, траур и только враги народа (то есть как раз они с подругой) могут спокойно, а может, *и с тайной радостью* идти в ателье заказывать новое праздничное платье из легкого крепдешина, с белыми лилиями на сиреновом фоне...

Схватив все еще ничего не понимающую подругу за руку, мама пулей вылетела из злосчастного «Люкса».

В этом вся моя мама. Такой она была. Могла залиться слезами по поводу смерти тирана, который и ее семью гнобил как мог, но это никак не отменяло заказ нового платья.

Обошлось. А если б нет? Едва ли тогда год спустя мне удалось бы явиться на свет божий...

* * *

Неглинку полюбили диггеры, которые спускаются в подземный коллектор в поисках острых ощущений. Но зачем лезть под землю, если Кремль как и прежде стоит на слиянии двух рек?

Кому-то, конечно, может показаться, что река тут только одна. Но нет. Неглинка всё так же впадает в Москву-реку. Просто приезжие, идущие на экскурсию в Кремль по Троицкому мосту, не всё вокруг умеют разглядеть...

* * *

я родился и рос как положено на берегу реки
в деревянном доме почти в избе
и я бы тоже однажды наверно вернувшись из странствий
устаи к этой реке приник
но с 1819 года она в трубе
и об этом факте я недавно узнал из книг

ибо родился я не в 1819 году а позднее хотя
и дожил до седи
это можно проверить в книге судеб
есть запись на букву Б
и об этой реке я вспомнил сейчас
потому что я сам в трубе
может это не так заметно потому что не я один

однако бублик это не только дырка особенно если он тор
ведь что такое вообще топология если не поиски
жанра с заходом на тот свет
как выясняется даже шандор петефи не столько
погиб в бою сколько женился
на дочке баргузинского почтмейстера
и вообще оказался хитер
и об этом факте я недавно узнал из газет

фирменный магазин фабрики большевичка открылся
на том месте где я родился и рос
где ввиду отсутствия плетня не на что наводить тень
где предельный страх и предельная храбрость
одинаково портят желудок
и вызывают понос
и об этом факте поведал еще монтень

я ни разу не был на том берегу реки хотя и дожил
как уже было сказано до седин
ибо вброд эту реку не перейти и кроме кузнецкого
вроде бы нет мостов
человек отличается от коллектива тем что всегда один
коллектив отличается от человека тем что всегда готов

не люблю играть в партизаны
в кто предал и в кто донес
ибо каждый из тех кто сегодня прав
уже в следующей серии виноват
человек пластинка неслишкомдолгоиграющая
и несовсемвсерьез
может об этом еще никто не поведал но это факт

Юрий Гаврилов Банный день. Сандуны

Колокольников переулочек был горбат и силен булыжником; весной между разноцветных, если присмотреться, камней зеленела молодая трава.

Булыжная мостовая (когда-то каждый крестьянин, въезжавший в Москву, должен был привезти дюжину камней величиной в пядь) совсем не говорит о том, что мое детство и отрочество безмятежно текли в захолустье или же на окраине Москвы.

Мы жили в центре, между Рождественским бульваром и Садовой-Сухаревской улицей, там, где по крутому склону словно частым гребнем были проведены переулочки от вершины Сретенского холма, Сретенки, к его подножию – Трубной: Печатников, Колокольников, Сергиевский, Пушкарёв, Головин, Последний и Сухарев – самая малая моя родина.

Хотя родился я на Урале, в Верхней Салде, от родителей, встретившихся в эвакуации. Моя мама – коренная петроградка, а папа уроженец Колокольникова переулочка.

Переулочки наши не оставили в прошлом следа великого и кровавого, как соседняя Лубянка, но свою лепту в историю Отечества внесли. Если бы я был мистиком, я бы задумался о некоторых тайных знаках, каковые были сокрыты в истоках моей судьбы.

Улица Сретенка, не нашедшая себе певца, подобно Арбату, есть наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами.

Ряд наших переулочков со стороны Рождественского бульвара начинается слободой печатников, т. е. типографчиков, которые построили себе каменную церковь Успения Богородицы в 1695 году на месте деревянной 1631 года; цела, слава Богу, по сей день.

Одно время в ней размещался музей Арктики, а затем – Морского флота СССР, который я неоднократно посещал по ненастным дням, сочетая полезное с приятным, – распивал спиртные напитки и знакомился с экспозицией – судите сами, читатель, что из этого было приятным, а что полезным.

Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографчиком, и не было ли здесь знака судьбы?

Сретенка заканчивается у Сухаревской площади церковью Троицы, что в Листах; здесь торговали продукцией печатников – листами: церковной литературой, печатными иконами и лубками.

И моя жизнь заканчивается вот этими листами – еще один знак.

Дом № 1 по Трубной улице, где жил мой школьный приятель, до революции носил название «Ад» – по помещавшемуся в нем заведению последнего разбора даже для тогдашних гнусных московских трущоб.

И первый реактор Красноярского горно-химического комбината назывался «Ад».

Ну почему я не мистик?

Жизнь была бы хоть и так же тяжела, но хотя бы понятна.

Колокольников переулочек получил название по литейному колокольному заводу Ивана Моторина, отлившего, помимо всего прочего, Царь-колокол.

Жившие по соседству пушкарники на склоне холма между нашим и соседним переулочком поставили церковь преподобного Сергия; первая, деревянная, сгорела в пожаре 1547 года, вторую строили долго, пока цари Иван V и Петр I не помогли камнем, и церковь освятили в 1689 году.

Крестный ход от нее совершался к Неглинским прудам, что славились рыбными ловлями, на месте нынешнего Цветного бульвара.

Пушкари по случаю праздника палили из орудий, пугая Сретенку, Сухаревку, Лубянку и Мясницкую – а ну как сожгут.

Строили церковь долго, а снесли в 1935 году быстро, под огромный, по проекту, клуб глухонемых.

Однако вместо клуба построили школу, № 239 мужскую (с 1944 года) школу Дзержинского района, куда первого сентября 1951-го я пошел учиться.

А клуб глухонемых открыли в полуподвальном помещении в Пушкарском переулке, с 1945 по 1993 год он назывался улицей Хмелева – в честь знаменитого исполнителя роли Алексея Турбина в любимом спектакле отца народов.

У Хмелева в Пушкарском была студия. Вообще этот переулок любим театральными деятелями: ныне на месте клуба глухонемых – филиал театра Маяковского, а неподалеку – еще какое-то театральное заведение.

В Большом Головином переулке была дровяная биржа, откуда мы на ломовом извозчике привозили в начале осени дрова.

Лошадь была такая откормленная, что с годами я начал подозревать, не от извозчика ли Дрыкина, возившего Ивана Васильевича во МХАТ, достался Мосгоркомхозу сей Буцефал.

В Последнем переулке располагалась старшая группа нашего детского сада, а наискосок от него – 18-е отделение милиции – неисчерпаемый кладезь детских впечатлений не совсем детского содержания.

Первое воспоминание детства – путешествие по почти неизменному маршруту, в Сандуновские бани.

Лет до трех меня и сестру мыли на кухне-коридоре дома, и я это помню. Видимо, это связано с тем, что сестру время от времени мыли таким образом и в более поздние времена. Воду грели на двух керосинках и примусе на двух столах – нашем и тети Мани. Вы когда-нибудь пытались вскипятить ведро воды на керосинке? Несколько часов терпеливого ожидания – и вы поймете, что это невозможно. Но Россия такая страна...

У меня было детское приданое, дожившее до шестидесятых годов: таз для купания, кувшин, большое ведро и ковшик. Все это было склепано на 45-м авиационном заводе из неправильно раскроенного хвостового оперения штурмовика «Ил-10» с разрешения очень высокого начальства. После войны 45-й завод частично вернулся в родную Сетунь, и мы с родителями ездили в гости к тем, кто мастерил мои купальные принадлежности. И мужчины обязательно пили за таз для купания, ковшик и другие предметы, за каждый отдельно, после чего им требовался отдых. В тех компаниях, что собирались у приятелей моего отца, у его сослуживцев-наборщиков, на складчинах, что собирались у нас, никогда не пили за Сталина, партию, родину – видимо, это не было принято в этой среде.

Во время очередной коммунальной свары, особенно зимой, мытье дома было невозможно, так как наш сосед Александр Иванович начинал ходить туда-сюда, поминутно открывая входную дверь, что грозило нам, малым детям, простудой, и нас вели в баню.

Ближайшей были знаменитые на всю Россию Сандуны. В них были три мужских разряда, два женских и еще какие-то загадочные семейные, куда, как я слышал краем уха, пускали по паспортам.

Сначала меня брали в женское отделение (что бы сказал об этом больной на всю голову дедушка Фрейд?), но я никаких комплексов по этому поводу не испытывал, так как мальчиков дошкольного возраста в женском отделении было много – у них просто не было отцов.

Именно в предбаннике женского отделения 1-го разряда я сказал первое своё слово, и это слово, заметьте, было «любка». Мне было уже хорошо за два года, а кроме «мама», «папа»,

«баба» и «Лида» я ничего не говорил. Обеспокоенные родители повели меня к врачу, и тот успокоил их, пообещав, что я скоро начну говорить, и заткнуть меня будет очень трудно.

Редчайший случай в практике – врач оказался прав. Мама рассказывала, что, сказав «юбка», я на этом не остановился, а дал развернутую нелицеприятную характеристику бабушке Лидии Семеновне, самой коричневой юбке, всему банному отделению и, оказавшись редкостным занудой, ничего во всей вселенной благословить не захотел. Дома папа и бабушка Мария Федоровна несказанно обрадовались тому, что я наконец-то заговорил. Но уже на следующий день их радость омрачилась тем обстоятельством, что, проснувшись против обыкновения ни свет ни заря, я начал излагать свои взгляды на жизнь. При этом я обильно цитировал всё мне прочитанное: сказки народов мира, стихи Маршака, Михалкова, Агнии Барто и Чуковского; мама, видимо, пожалела, что читала мне на ночь каждый вечер, если не работала во вторую смену.

Умолк я не раньше, чем меня объял ночной сон.

Швейк, как известно, по любому поводу, даже про ужас нерожденного, мог рассказать историю из собственной жизни; мне же в конце 46-го года недостаток жизненного опыта восполняло радио. Черная тарелка висела у нас как раз над входной дверью, выключать ее было опасно: соседи могли донести, что имяреку не нравится наше радио, наш гимн, борьба с пресмыкательством перед Западом (нужное подчеркнуть).

С молодых ногтей я был страстный и неумолимый обличитель империализма, колониализма, агрессивной внешней политики США и особенно морального загнивания и бездуховности западного общества.

А если учесть, что память моя той поры не уступала возможностям современного цифрового диктофона, то можно только поражаться терпению взрослых, вынужденных слушать мои бесконечные бредни, которые оказывались подчас и крепче, и круче официальной пропаганды.

Когда же годам к семи в голове моей уже хранилось изрядное число разрозненных томов из библиотеки чертей, появились первые поклонники моего таланта. Тетя Маня частенько просила меня: расскажи стишок, только не про политику, ну ее к шуту, и внимательно слушала и «Тараканище», и «Муху-Цокотуху», и «Мистера Твистера», и «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат: „Долой господ! Помещиков долой!“»

Михалков был моим любимым поэтом. Нет, не дядя Степа, но «Жили три друга-товарища в маленьком городе N». Пришли фашисты, товарищей-подпольщиков схватили, пытали, двое не произнесли ни слова. Но «Третий товарищ не выдержал, третий язык развязал: „Не о чем нам разговаривать“, – он перед смертью сказал», – надо ли говорить, что третьим товарищем я воображал самого себя...

Через лет двадцать я частенько был *«третьим»* товарищем.

Банный день был суббота, и это было святое.

Лет с четырех меня стал водить в баню отец. Мать собирала нам смену белья, банные принадлежности, мне – обязательно два мандарина, мою любимую игрушку – трофейную собачку-прыскалку по кличке Индус; простыни, чтобы постелить на черный дерматиновый диван в предбаннике.

И мама, и папа были равно одержимы страхом, что мы с сестрой можем подхватить какую-нибудь заразу (а при скученной жизни, когда все вынужденно терлись друг о друга жопами – выражение из детства, – заразы хватало, в 1946 году заболевания сифилисом увеличилось в десять раз), – и перестарались: я до пятидесяти лет панически боялся заразиться именно сифилисом, хотя никаких к тому оснований не было.

Дорога шла вниз по переулку к Трубной улице, потом – к Трубной площади. Здесь, на углу, висела таинственная эмалированная табличка с нерусскими буквами *WC* и синей

оперенной стрелой. Тут же в сезон стояла тележка газированной воды, самой лучшей во всей округе. Дело, конечно, не в том, что вода была родниковая, а в том, что толстая тетка, сидевшая на табуретке, где под клеенчатой юбкой прятался бидон с вишневым сиропом, сироп в стакан налиwała по-божески, не жухая. На обратном пути мои два законных стакана с двойным сиропом (1 р. 60 коп.) я пил, смакуя, и никто меня не торопил.

На углу площади и Неглинной улицы, там, где теперь безликая «Неглинная plaza» для очень богатых, помещалась аптека с чашей и змеей на витринном стекле. Я уже на Трубной улице начинал санпросвет: рекламировал гематоген как лучшее средство против малокровия, признаки которого якобы были у меня настолько очевидны, что грозили летальным исходом. Иной раз эта проповедь имела успех.

У аптеки у светофора проезжую часть Неглинки пересекала надпись большими металлическими буквами, опять-таки нерусскими, – *STOP*. Латиница меня смущала, я подозревал, что в этом могут таиться козни врагов.

В бани мы поднимались со стороны Звонарского переулка (в те времена он назывался 2-й Неглинный, а Сандуновский – 1-й Неглинный) и на углу, напротив входа в высший разряд, мы расставались с женщинами и останавливались возле могучего деда с окладистой бородой.

Вечный дед (он еще в мои молодые годы стоял, пока не сгинул) торговал вениками. Баня была парная, а в парной веник – господин. Веники у деда были березовые и дубовые, березовые по рублю, а дубовые – по два. Дед говорил: веник выбрать – не жену выбирать – это дело сурьезное... Отец признавал только березовые; веник должен был быть ухватистый, однородный – его трясли, щупали, нюхали.

Московский пиит XIX века Петр Васильевич Шумахер, ныне прочно забытый вместе со всей прочей мировой поэзией, чудесно писал:

В бане веник больше всех бояр —
Положи его, сухмянного, в запар,
Чтоб он был душистый, взбучистый,
Лопашистый и уручистый.

Мы каждый раз покупали новый веник, хотя мать считала, что это мотовство, но старый забирали домой, им потом парились женщины. Как мне хотелось с этим веником войти в высший разряд, где, по слухам, был бассейн, но высший разряд стоил 10 рублей, а это было дорого – ненавистное и унижительное слово детства.

Но отец говорил, что в бассейн он меня не пустил бы: мало ли что там плавает, а пар в первом разряде лучше (значит, он бывал в высшем разряде, замечал я про себя).

Женского высшего разряда не было.

Первый разряд стоил 3 рубля со взрослого и 1 рубль с ребенка, а второй – 2 рубля и полтинник с ребенка.

«Пар там хороший, – говорил отец, – но там грязно».

В первый разряд всегда была очередь – от раздевалки и вверх по лестнице. Больше часа стояли редко, перед праздниками. Когда Сандуны (о горе!) закрылись на ремонт, начались наши странствия: Центральные бани, Селезневские, Донские, Краснопресненские – везде было хуже.

Наконец с лестницы нас запускали в предбанник, где помещалась парикмахерская, и здесь мы стриглись (не каждую неделю). Очень хотелось освежиться одеколоном: зеленым «Шипром», или «Полетом», или же «Тройным», который был так хорош, что некоторые (это я точно знал – слышал краем уха) его пили; но опять-таки это считалось транжирством.

И наконец – предбанник, хозяйство пространщика. Почти все пространщики и погловно все банщики были татарами. Пространщик указывал место на диване, у него хранились деньги и часы клиента, он мог подать пива, организовать выпивку (в бане не отпускают, а пространщик отпускал), отнести в починку и глажку вещи, у него были казенные полотенца, мочалки, мыло, простыни, личный винный погребок, но мы этим никогда не пользовались.

Пространщики цену себе знали, держались с достоинством английских дворецких и имели одну забавную манеру: выслушав какую-либо просьбу клиента, они обязательно держали мхатовскую паузу и только после этого многозначительно роняли: «Сделаем».

У отца был знакомый пространщик, Николай, и если у него должно было освободиться место, мы ждали.

Послевоенная баня был ужасна – парад увечий, и каких! Иной раз непонятно было, как жив человек: у одного не было половины живота, и отсутствующее место было затянуто темной полупрозрачной пленкой, у другого голова кое-как была собрана из кусков, неизвестно кому дотоле принадлежавших. На обожженных-обугленных и сваренных, на их пятнистую кожу с рубцами и шрамами смотреть было страшно; я несколько раз видел человека без ягодич, начисто отрезанных осколком, огромного мужика с такой ямой в спине, что туда легко мог уместиться футбольный мяч.

О безруких, безногих, слепых и контуженых и говорить не приходится.

Я изучал наши потери в войне не по книгам под редакцией генерал-майора Кривошеина, а в мыльнях послевоенных московских бань и в тех деревнях, куда никто не вернулся с войны...

Первым делом отец ошпаривал скамейку, на которой мы собирались мыться, и давал мне согреться. Ошпаренный веник ждал своего часа в двойной овальной шайке, которых в Сандунах было в избытке, не то что в иных второразрядных банях.

По правую сторону мыльни были в два ряда установлены на постаментах мраморные ванны с широкими краями, вода в них лилась из пастей бронзовых львов (все это было снесено при реконструкции). Чтобы полежать в ванне, надо было занимать очередь, но не тут-то было – гигиенические соображения отца раздавили и эту мою мечту.

Однажды, воспользовавшись тем, что отец надолго засел в парной, вступив в честный поединок с Равилем, носильщиком с Ленинградского вокзала, ярым парильщиком и человеком азартным, – кто кого перепарит, я таки залез в ванну. Расслабился в ней и был пойман на месте преступления. Отец никогда нас с сестрой не наказывал и не ругал, но отмывал он меня в тот день не то карболкой, не то каустиком и дегтярным мылом, так что мать была обеспокоена тем, что нас пришлось долго ждать, и тошнотворным запахом, от меня исходившим.

Когда я доходил до кондиции, отец вел меня в пыточное отделение – в парную.

Впоследствии я парился в других банях и других городах – от Петрикова в Белоруссии до Красноярска-26 – но нигде я не встречал такого жестокого самоистязания, как в первом разряде Сандунов.

Русско-татарское соперничество доводило парильщиков до иступления. Мой отец был король парной, вице-королем был Равиль, у каждого были свои преданные болельщики. Закладывались они далеко не каждый раз, но уж когда схлестывались, верхний ярус полка оставался за ними.

Большая печь с глубокой топкой и подом, уложенным булыжником, – каменка – стояла на полу у окна. Поддать пару, т. е. плескнуться водой на раскаленные камни и ни в коем случае не на огонь, нужно было уметь. Иной раз на поддающего дружно орали: «Одурел! Сварить нас хочешь? Круто берешь!» И начинались шуточки про яйца вкрутую... Кто-то считал, что лучший сухой пар дает только вода без примесей, кто-то любил пар с хлебным ароматом

(в воду доливали пива или кваса), иной гурман выплескивал на каменку настой от веника, я любил, чтобы из-под дубового; бывает пар мятный и разный другой, но он обязательно должен быть сухим.

На полу стояли скамьи, на них парились люди ослабленные, которым, собственно, в парилке и делать было нечего, но они, если не помашут веником, то вроде и не помылись.

На деревянном полке было два уровня, и мы с отцом поднимались, разумеется, на самый верх.

– Поддать? – спрашивали у отца, и он чаще всего отвечал:

– Можно.

Кто-нибудь из молодых завсегдатаев шел к двери и придерживал ее, иначе входящего в момент смены пара могло сильно ошпарить. Начинало резать в глазах, щипать под ногтями, не хватало воздуха, но отец был прав – приучить ребенка к парилке можно только с младенчества, не давая ему пощады.

В одной из шаяк – холодная вода на всякий случай. Некоторые макали туда полотенце и устраивали компресс на голову или сердце, но таких к состязаниям не допускали.

На верхней площадке полка всегда было несколько мальчишек моего нежного возраста, русских и татарчат. Более смуглые мальчишки наливались пепельно-багровым цветом, я же, со своей редкой белизны кожей («Пшеничный ты наш», – говорила, бывало, Тоня, сестра бабы Мани), становился цветом – вареный рак, каковым и являюсь по гороскопу.

– Малец-то весь пылает у тебя, охолони его, – обращался к отцу какой-нибудь сердобольный инвалид, но отец пропускал эти советы мимо ушей.

Для меня спуститься вниз было равносильно признанию, что я – Гогочка.

Это было невозможно; я должен был ждать, пока отец, встряхнув веник, чтобы набрать в него побольше раскаленного воздуха, сначала слегка касаясь моего тельца, отхлещет меня веником от души, окатит прохладной водичкой – вот здесь уже прилично было сказать: я пойду, поиграю (собачка была со мной в парилке).

Отец возвращался из парной, мы мылись, после чего мне разрешалось постоять под душем (сначала отец шпарил пол в душевой, и только после этого я допускался под сень струй).

Из мыльни отец выносил меня на руках, и я покрывался коростой позора – меня, взрослого мальчика, почти школьника, папа держал на груди, как малыша, который толком и ходить-то не умеет.

Оказавшись закутанным в домашние простыни, я доставал из сумки два мандарина.

Мандарины надо есть подробно, господа, этому учит нищета, а просто так быстро облупить мандарин и засунуть его в рот – в этом, поверьте, нет никакого вкуса. Сначала надо было осмотреть мандарин – какая у него кожура и хорошо ли она будет прыскать душистыми тоненькими струйками на чистую, до скрипа и писка отмытую кожу. Потом с долек надо было снять все белые прожилки, оставленные исподом кожуры, и только после этого, отжав всю кожуру, можно было смаковать дольки и осматриваться по сторонам.

Срамотой исподнего и бедностью верхнего платья никого в то время удивить было нельзя – в нижних рубашках посещали лекции в МГУ, но казусы встречались: старик непонятно какого звания имел нижнее и верхнее платье из вываренной мешковины, так что на попе у него проступала надпись «сахар», на боку – «соль», на сюртуке – «ядрица».

Я наблюдал за пространщиком Николаем и поражался многообразной его деятельности; чрезвычайно меня занимал также «мозолист-оператор» и загадочная надпись «...и пяточные шпоры».

Начало надписи было, видимо, утрачено, но, сколько я ни осматривал ноги мужского 1-го разряда, я не видел ни одной шпоры на пятке, ни острой, ни репейником, ни колесиком со звездочкой.

Со шпорами я был хорошо знаком.

Сосед Александр Иванович в молодости, по его словам, служивший в кавалерии, когда он выпивал «в плепорцию», как он сам выражался, извлекал из своих слесарных ящиков шпоры и прочие интересные причиндалы.

Здесь были огромные связки ключей от неизвестных замков, блестящие и позеленевшие гильзы от разных систем оружия, австрийский штык времен Первой мировой войны, обрубки цепей различной конфигурации, включая велосипедные, шарикоподшипники шариковые и роликовые, обрезки меди листовой, обрубки олова, связки металлических колец, карабины от простых до весьма головоломных, у которых верхняя и нижняя часть независимо друг от друга вращались на оси, застежки, медные английские булавки, такие большие, что ими можно было крепить конную упряжь...

Но, заглянув еще пару раз в сарай и нарушив «плепорцию», Александр Иванович утрачивал добродушие и шел точить именные ножи: «На Лёвку нож точу, на Вальку, на Юрку», – приговаривал он, стоя у ножного точила.

Впрочем, всё это были пустые угрозы.

Как правило, мы поджидали женщин, которые моются быстро, но собираются медленно.

Мы должны были возвращаться домой вместе, потому что в начале Трубной, между Печатниковым и Колокольниковым переулками, располагался филиал столовой № 3 Дзержинского района, попросту – шалман, «последний каба́к у заставы».

Но это уже совсем другая история...

Андрей Макаревич Старая Москва. Рождественка

Когда начинаешь думать о своем восприятии Москвы – мысль неизбежно скатывается к воспоминаниям о Москве. Нет – к воспоминаниям Москвы. И чем глубже ты ныряешь в прошлое, тем они ярче. Это свойство возраста, или просто дело в том, что раньше ты ходил по ней, бежал в школу, а потом в институт, спускался в метро, трясся в троллейбусе, ловил такси... Да чего там – жил в Москве, в самом центре, вдыхал ее запахи. Уже много лет я живу за городом, а по Москве передвигаюсь на машине – от одного дела к другому. Вечером друзья покажут очередной новый ресторан – отличный! Открывают и открывают. Москва очень изменилась. И запахи ее стали другие. И она мне по-прежнему очень нравится. Только вот вряд ли я буду эту Москву вспоминать. Потому что она – здесь, независимо от того, где я. А той – уже нет.

Недавно приезжал мой товарищ-архитектор, живет в Америке уже четверть века и в Москву вернулся за это время впервые. Я бросился ему показывать (местами – с гордостью!), как всё изменилось, а он расстроился оттого, что почти ничего не узнаёт. И здесь ведь дело не в том, какая Москва лучше, правда?

Вы помните старые московские окна? Деревянная, когда-то белая, скорее всего, еще дореволюционная рама в трещинках и шелухе краски. Очень грязное стекло (мыли два раза в год, а чаще один – весной). Закрашенные этой же краской и потому застывшие намертво шпингалеты: хочешь открыть – постучи молотком. Между рамами лежит валик из ваты, можно украсить звездочками из фольги – Новый год. Эта красота лежала у всех зиму напролет – может, заодно для тепла? А изнутри и первая, и вторая рама – вернее, щели в них – заклеивались полосками бумаги на крахмальном клейстере. Оставалась только форточка – как люк в подводной лодке. Обычно она плохо закрывалась и из нее дуло. На широком подоконнике – банки: огурцы, варенье, лечо. На лечо – страшное заклинание: «Имам Баялды». Какие такие баялды? Подоконник – холодное место. За окном – Волхонка, звенит, дребезжа, трамвай (банки отзываются дрожью), курит, пожививаясь, у дверей старый парикмахер Абрамсон, меня водят к нему стричься – вам польку или полубокс? Пятнадцать копеек, пожалуйста! На кухне идет большая стирка с кипячением, доносится запах пара и тряпок, переругиваются соседки. В радиотрансляции – «Театр у микрофона». «Кремлевские куранты».

Это было вчера.

А вот сейчас я очень спешу – дорога рассчитана до минуты, но накануне мы репетировали до поздней ночи, а потом еще пили портвейн под загадочным номером 33 и до умопомрачения спорили – сколько голосов звучит в битловской *«When I Get Home»*: три или четыре? Сережке Кавагоэ вечно мерещатся несуществующие голоса, и он страшный спорщик. В общем, поспать удалось часа два, и сейчас надо быстро перебежать Комсомольский проспект (ночью выпал снег, и машины уже превратили его в кашу цвета кофе с молоком), скатиться бегом по эскалатору метро «Фрунзенская», втиснуться в поезд (интервал между поездами полторы минуты. Интересно, как сейчас?), продремать двенадцать минут до «Дзержинской» (ты так плотно зажат гражданами, что упасть не получится, спи – не спи), теперь вверх по эскалатору (бегом!), сразу направо в «Детский мир» – через него короче, прямо насквозь, в это время в нем еще нет толпы, выскакиваешь, утыкаешься в двери ЦДРИ, налево, направо – и ты уже на улице Жданова, перебегаешь Кузнецкий Мост, еще сто метров – и вот слева за оградой твой родной Архитектурный, фасад с изразцами, немножко пряник.

Интересно, когда знаешь, что все равно опоздал, – зачем бежишь? Никогда не мог себе этого объяснить.

Прямо перед входом – круглый фонтанчик. Ни разу не видел, чтобы он работал. На фонтанчике сидят друзья – Игорь Оrsa, Оля Зачётова, Витя Штеллер. Они разумнее меня и никуда не спешат. Они курят. И я сразу успокаиваюсь. Мы не пойдем на лекцию, раз мы опоздали. Мы пойдем в «Полгоры». Для этого надо (теперь уже совершенно спокойно) выйти из ворот (напротив через дорогу – наша любимая пирожковая: как же долго она просуществовала! Она пережила Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина – со своими жуткими жареными пирожками из автомата и сладким липким кофе со сгущенкой из бака «Титан». Закрылась недавно), потом повернуть налево, пройти мимо церкви, где у нас расположена кафедра рисунка, теперь опять налево и круто вниз к Неглинке. Не помню название переулочка, но ровно посреди него (отсюда и прозвание «Полгоры») на правой его стороне – наша конечная цель. Шесть ступенек вниз – как это называлось на самом деле? Кажется, «Столовая самообслуживания». Важно не название, а то, что в это время там всегда были места и почти всегда было пиво – «Жигулевское», 32 копейки бутылка. А потом пустую бутылку у тебя здесь же принимали за 12 копеек и – сколько оставалось добавить? А с учетом того, что на столе лежал бесплатный серый хлеб и тут же стояли соль, перец и горчица – праздник уже висел в воздухе. Из перечисленных пищевых компонентов делалось блюдо под названием «адский бутербродик», которого в силу остроты хватало на любое количество пива.

О чем мы тогда говорили?

Старая Москва при полном отсутствии генерального архитектурного плана и наивного разностилья сооружений обладала удивительным обаянием – вся она была чуть-чуть кривовата, состояла из поворотиков, закуточков и уголков. Дом строили, естественно, стараясь сделать его прямым, потом он проседал, и попробуй выправи – в следующий раз штукатурили поверху, как есть. Посмотрите на эти карнизы, на линию окон (кое-где еще остались дома, не искаленные реставрацией) – это не дома, это скульптуры. И скульптор тут – Время. Таким когда-то был старый Арбат. Его выровняли, выгладили, раскрасили веселенькими красками, понатыкали чудовищных фонарей – и он превратился в декорацию Театра юного зрителя города Мухоморска. Из него ушло дыхание.

Конечно, совсем скоро никакой старой Москвы не будет. Да ее уже нет – ибо отдельно стоящие отрафинированные памятники архитектуры не дают никакого ощущения живого старого города. Хотите ощущения – езжайте в Торжок. Пока там всё не развалилось. И ничего тут не поделаешь – нельзя жилой город взять и превратить в музей. «Дом – машина для жилья», – говорил Корбюзье. И город – машина для жилья. И эту машину будут непрерывно обновлять и реконструировать, пока люди тут живут.

А вот в памяти моей старая Москва все отчетливей и живее.

Одно только не могу вспомнить: о чем мы тогда разговаривали?

Владимир Березин Чернила февраля. Тверские-Ямские

Сверху Москва похожа на древесный спил. Это известно.

Годовые кольца улиц неплотно прилегают друг к другу, и во все стороны расходятся трещинки магистралей. Площадь Маяковского – как раз на северо-западном луче, точка в конце прямой строки Тверской улицы. Я родился на улице Горького – в той ее части, что зажата между площадью Маяковского и Белорусским вокзалом.

Дом стоял серым броненосцем, вокруг были корабли рангом пониже, жестяные катера гаражей – маленькие арки, подъезды, огромная вентиляционная труба метрополитена с теплой воздушной струей из подземной вентиляции, помойка, а там чахлые деревца, впереди, в просвете – дом. И еще какой! Крейсер желтого кирпича с ломаным фасадом, чужой и холодный.

На моем доме было множество мемориальных досок – от клоуна Карандаша до авиационных конструкторов. На моем подъезде висит теперь доска поэту Шпаликову. Его я не помню, зато помню издательство «Детская литература», что занимало всё пространство внизу, а в новые времена сжималось, как шагреновая кожа, пока наконец не растаяло совсем.

Дом строился на фундаменте церкви Василия Неокесарийского, от которой остались лишь название улицы рядом и подвалы, наполненные трухой, в которых девочкой играла моя мать.

С одной стороны от улицы Горького – Тверские-Ямские, с другой – Брестские. Я довольно долго был уверен, что очертания белого дома с башенками, маячившие в конце улицы, – это и есть Брест.

Даже первые уроки географии не смогли поколебать этой уверенности.

Брестским был и вокзал.

Тут страдали герои Пастернака в баррикадные дни: «Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады». «Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы погибших со зданий».

Рядом Бронная, Патриаршие, Булгаков.

В Москве существует немного мест для встреч, как и в Ленинграде. Можно встречаться у метро «Краснопресненская», около рабочего с гранатой.

Еще хорошо стоять около уцелевших газетных стендов в конце Гоголевского бульвара, театрального киоска внутри станции метро «Парк культуры». Отъезжая в Крым, необходимо выехать на эскалаторе к сухому «фонтану» на станции «Курская». Никакой он не фонтан, ну да это не важно.

Летом в Москве хорошо встречаться на Патриарших. Нужно сидеть на скамеечке, спиной к полированной Моське и Волку с золотистыми зубами, лениво разглядывая домик на той стороне – без опасения влипнуть в историю.

У широченных штанин Маяковского встречаются редко, поэтическая тусовка смогистов¹ сгинула давно, и лишь в начале сентября рядом с ним собирается загорелый народ. Это называется «Крымская стрелка». Те, кто провел хоть день между Тарханкутом и Керчью, сходятся на Маяковке.

¹ Смогисты – члены литературного объединения молодых поэтов «Самое молодое общество гениев», созданного в 1965 году.

Площадь Маяковского – это начало уходящего к центру добротного сталинского ампира. Гипсовые женщины бьются в стальных сетках, как пойманные рыбы. Нагибаются к проходим мертвые гербы с картушей. Ночь за окнами начала синеть.

Меня всегда радовал вид из окна квартиры, где я прожил первые четырнадцать лет моей жизни, куда я постоянно возвращался, гармоничная соотнесенность неба, крыши, стен и клочка тополиной кроны.

Двор за окном был мой и всегда вторгался внутрь дома. Летом оттуда в комнату влетал тополиный пух и, копошась под диванами и столами, вел свою независимую жизнь.

Ночью, если я лежал на спине, то на ночном потолке проплывал мимо меня световой штрихкод – белые полосы, загадочным образом рождаемые автомобильными фарами и валиками стеклоделательной машины.

В этот час исхода ночи не было мочи сидеть дома, наблюдая в окне странные цвета неба и стен, цвета переходного процесса ночь-утро, и слушая обязательный ночной атрибут – тихую музыку радио, отзывающуюся на слово *«rien»*.

Еще несколько минут я перекладывал листы и разглядывал фаберовские карандашные коробки, жалованные мне в детстве.

Скоро я перееду в другое место, и они вернутся в тот стол, который столько лет назад опрометчиво покинули. Карандаши были подарены мне покойной родственницей, в квартире которой я теперь, может быть, буду жить. Дом этот недалеко, через улицу. Там многометrovый грязный паркет и печальный кот-старичок.

Борис Пастернак родился в январе. Это потом январь стал февралем, сместилась земная ось, началось новое тысячелетие, и такое количество родственников, знакомых и просто сверстников Пастернака улетело вверх тормашками поверх барьеров, такие воздушные пути начались, что просто святых выноси.

Так вот, день рождения перелез из одного месяца в другой, а на первой странице всякого пастернаковского сборника помещается стихотворение про февраль и что «достать чернил и плакать». Эта фраза удивительно подходит ко всем публичным дневникам – и когда сдохнет январь, они наполнятся криками и чернильными слезами: «Достать... А вот и февраль! Чернил! Чернил, я плачу». В общем, хор мальчиков и бунчиков исполнит это много раз, и совершенно справедливо.

Между тем, Пастернак родился на соседней улице с другим моим домом. Собственно, тогда я жил на улице Горького, потом переехал на другую сторону, а дом, где родился Пастернак, был прямо за большим пустырем, где раньше находился театр кукол. На пустыре, где много лет строили второй выход из станции метро «Маяковская», стояли щиты с гербами союзных республик и лозунгами, оттуда хорошо было наблюдать за слякотными ноябрьскими парадами.

Но я всё не об этом. Пастернак довольно часто возвращался к этим местам. Сарнов, например, упоминает в «Случае Мандельштама» такую историю: «Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: „То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому“». Я не знаю, откуда эта цитата, но в любом случае тут натяжка. Пространство между нынешней площадью Маяковского и Белорусским (ранее – Брестским) вокзалом во времена сталинскихстроек уже не воспринималось окраиной. Да и для Пастернака она была родной. Сюда он поселил своих героев:

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела. Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий». Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Потом они живут неподалеку: «Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады». Вот что это за место.

Тогда, накануне рождения поэта, родители приехали в Москву из Одессы, квартира снята за полкатеринки², 50 рублей в месяц, – это, в общем, было дешево. Номер квартиры – 3, комнат было шесть, но на рисунках старшего Пастернака ощущение тесноты, стулья штурмуют комоды и столы, стены норовят приблизиться к зрителю. Сам дом прост, как большая часть послепожарной поросли, но именно про него в описи за 1890 год:

У действительного студента Леонида Осиповича Пастернака и его жены Розы Исидоровны Кауфман, января 30-го в двенадцать часов ночи родился здесь, по Оружейному переулку, дом Веденеева, сын, которому дали имя Борис.

Сейчас дом Веденеева выглядит полуразрушенным – вывески эволюционируют от притона «одноруких бандитов», через грузинский ресторан к парижскому кафе. Вообще-то его нужно, конечно, снести – это будет вполне по-московски.

Поскольку дом, где жила Парнок и что-то там делала с Цветаевой в перерывах между стихами, определенно снесут.

Надо как-нибудь вывесить его фотографию, потому что он красив, да и в кадр все время попадает мой, соседний. У нас дома маленькие, стоят стена к стене. Известно, что дом, где жила Парнок, строил знаменитый архитектор Нирнзее. В Москве лихо снесли за последнее время много его домов, и поэтому проектировщикам велели, когда они это снесут, сохранить в новом здании форму старого фасада.

Однажды я пришел к старухам, что пытались отстоять эти дома, на собрание.

Я сказал им:

– Старухи! Давайте повесим мемориальную доску: «Здесь в 1914 году Марина Цветаева потеряла невинность с Софьей Парнок».

Но старухи обиделись и меня больше не звали.

Впрочем, дом Парнок, кажется, отстояли.

Но потом застройщики взяли меня измором.

² Катеринка (устар.) – традиционная банкнота России, Российской империи и СССР номиналом сто рублей.

Кстати, отчего это творческие личности жили в квартирах за номером 3, непонятно. Парнок тоже жила в третьей квартире – но не на 2-й Тверской-Ямской, а на 4-й.

Я больше всего удивился именно этому открытию, ведь – каково? В трех метрах, значит, от меня – за стенкой... Цветаева... И Парнок... А потом – те... И эти... И те тоже... А я-то, прочитавший бог знает сколько текстов про всех этих людей, – ничего не знаю. Хотя, конечно, это всё надо проверить – может, Парнок там делала совсем другое и с другими – она была известной ветреницей³. Дома тут полны легенд – мне долго и серьезно рассказывали про квартиру, что подо мной, о том, как маршал Тухачевский пришел туда к любовнице, а его повязали поутру, и еще со следами удовольствия на лице, и упаковали в черный автомобиль. И нужды нет, что его арестовали в городе Куйбышеве. Где город такой? Глянь вон всяк желающий прямо сейчас на карту – нет там никакого Куйбышева.

А несколько лет подряд я слушал из стены музыку. Нужно было привалиться стоптанным ухом в определенном месте – и было слышно тихое урчание электрогитары. Наверное, в подвале сидел какой-то человек, для которого наступил вечный День сурка, – он играл всё лучше и лучше и вдруг исчез. Может быть, я опознаю его на слух в каком-нибудь радио. Или вот во дворе нашего дома поставили какой-то бетонный куб, перевязанный арматурой. На нем написано: «Памятник потребителю». И точно, вместо части двора и скверика нам поставили богатый потребительский дом.

Или вот шагнешь в сторону – там рядом находится Музей русской гармоники.

Русской гармоники! Я бы поставил перед ним статую старика Флягина, очарованного лесковского странника, что просил в награду за подвиг гармонию-гармонику. Но потребители, конечно, геометрически и скульптурно более совершенны, чем он.

О том, что творится за площадью, я и говорить не буду – буйство булгаковских упырей, литература, бьющая через край, дом Фадеева с дыркой в голове, зоолог Иван Крылов в окружении детворы у пруда.

Потом прорыли выход из станции метро «Маяковская» – прорыли в двух шагах от моего дома.

Выход этот был странный, очень запутанный. Такое впечатление, что тогдашний градоначальник обиделся на пловуны, застучал клюкой и погнал свои большие строительные батальоны на убой.

Побродил я в лабиринте нового выхода, поездил на эскалаторах и вышел на волю.

Надо сказать, что рядом кипела ночная жизнь. Места вокруг моего дома внезапно стали дорогими и обросли недешевыми кафе. Например, если рядом с одним из них стоит меньше двух кубических «гелендвагенов» и одного кабриолета, я по старой привычке думаю, что там происходят какие-то траурные посиделки.

Этот выход из метро предполагалось встроить то в новый Театр оперетты, то в офисный дом, то еще в какую-то дребедень. До сих пор не вышло ничего. Но место было проклято, и, видимо, секретарь Фрунзенского райкома КПСС, увидев, как разбирают стоявший на нем лет двадцать стенд с гербом и портретами передовиков, топнул ногой и сказал:

– Быть сему месту пусту!..

В результате сумели построить только дырку в метрополитен. Ну и переделать то, что построено под рестораны.

³ Интересной идеей было бы развесить по домам памятные доски: «Здесь в январе 1821 г. встречался поэт А. С. Пушкин». Или: «В этом доме по случайности Владимир Маяковский переспал с одной комсомолкой» – впрочем, всё к этому идет.

Хозяевам давно исчезнувшего ресторана очень мешало, что их окна смотрят на унылый гофрированный забор, – ну и что, спрашивается, снимать тут свадебному фотографу? То, как невеста курит у ресторана на фоне ржавых труб и крана?

И они заказали дизайнерам длинный плакат. Дизайнеры заказ исполнили, плакат приклеили, и теперь каждый может посмотреть на картинки из журнала мод гоголевских времен – то с рюшечками, то с оборочками.

Сверху над картинками – длинная надпись. Я ходил мимо нее довольно давно и только теперь догадался переписать: «Красота, может быть, и не спасет мир, но 2-ю Тверскую-Ямскую точно в обиду не даст. В XIX веке здесь можно было встретить нарядных, богатых, красивых женщин. Они, как во все времена, мечтали об угощениях и приключениях. И, как во все времена, мужчин, считавших себя почему-то разумнее женщин и по возможности или из безрассудства позволявших им делать это. Потому что жить стоит красиво. Или не стоит».

Я добрался до конца этой фразы, такой же длинной, как рассказ Совы, прилетевшей к окруженному водой новоорлеанскому Пятачку, и понял, что и его тоже смыло беспощадное время.

Одна печаль – в эти времена кринолинов на 2-й Тверской-Ямской улице были сплошь дешевые кабаки; если и увидишь нарядных женщин, то будь уверен, что это... Жены в Ямщицкой слободе сидели тихо и не высывались, а мужья – дальнбойщики прошлого – пили крепко, чтобы унять тяжесть дороги и больные спины.

Ну, мужчины со своим безрассудством были под стать. Я читал судебные отчеты, выискивая Тверские-Ямские, и находил лишь незнаменитого убийцу Балакина, что жил по этой 2-й Тверской-Ямской, дом 6, квартира 7, и зарезал Шурку в 31-м доме по 4-й Тверской-Ямской.

Недобрые были места, да.

А теперь – другое. Тишь да гладь – разве взорвут какого знаменитого бандита Сильвестра, перепугают взрывом моего кота, да и пойдет жизнь своим чередом. А гофрированный забор будет вечен, хоть с новыми картинками. И никто уже не расскажет нарисованным барышням, что оборок более не носят, что вместо них давно фестончики, что пелеринка из фестончиков и на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу в метро фестончики и в кабриолетах всё фестончики. Везде.

Чур меня, чур – всё заносит февральская метель. Лишь чернильной кляксой надо всем – бетонный куб в человеческий рост, перевязанный гнутой арматурой.

Пространство между «Маяковской» и «Белорусской» – место неизвестных памятников.

Особые памятники были в Миусском сквере.

Сквозь каменное пальто Фадеева просвечивала церковь, где венчался Александр Невский. От нее остались название улицы и память об огромном соборе, что был возведен на ее месте и, простояв пустым полвека, исчез. В другую сторону от Маяковского, симметрично Патриаршим, находится Миусский сквер, где в жестяном колпачке обсерватории пионерского дворца прошло мое детство.

В посольском квартале на Брестских под сенью чешского флага стоял ныне исчезнувший бюст Фучека.

Исчез и он, и разбойный рынок на Тишинке.

Рядом была улица с нескромным названием Живодерка, потом полпред Красин дал улице имя, а у самого Садового кольца возник Институт биологических структур – говорили, что это эвфемизм для Института сохранения мумии.

Местные жители были уверены, что отсюда до Мавзолея был прорыт подземный ход, чтобы возить туда-сюда тело мертвого вождя.

Место встречи всегда оказывается местом ностальгии. Ностальгия – это не тоска по родине, а тоска по другой жизни. Несколько поколений в моей стране жили будущим, забыв о прошлом и закрывая глаза на настоящее.

Как сказал некто, они слишком долго дышали чистым безвременьем и оттого сожгли свои легкие. Нельзя долго вдыхать чистое безвременье, как нельзя дышать чистым кислородом. Это общий ожог – он есть и у меня.

В моем школьном детстве было несколько сакральных фраз.

Одна из них – заключительная из дневника Тани Савичевой: «Умерли все, осталась одна Таня».

И был в этой фразе особый поэтический и трагический смысл – сравнение себя с другими, ушедшими: вот ты и вот они.

Они ушли, а ты остался.

Один.

Одна Таня.

В силу отсутствия немецких войск и старости смерть замещается отъездом.

Уехали все.

Места изменились, и это я заметил уже давно.

Возник, например, дом, с каждого балкона которого торчит тарелка спутниковой связи.

Дальше – Тихвинские улицы и переулки. Тихвинские – это розовые свечи над ночным чаем, гитарные струны и песни по очереди. Тихвинский – это дорога домой по светящемуся в темноте снегу между трамвайных путей. Наконец, это моя мать с иголкой, графин и рваные тапочки.

В одной книге, название которой я уже забыл, было такое:

– Вы где там жили, осмелюсь вас спросить?

– Я жил в Тихвинском, это...

– Великолепный район, не нужно никаких пояснений. Это не в самом центре, но это и не пригород. В нескольких шагах – широченный проспект, немного подальше – Марьино роща... И не мне вас уговаривать, не мне, человеку природы, по-детски чистому, по-детски наивному, убеждать жителя Тихвинского переулка, которому достаточно повернуть налево, чтобы вдохнуть в себя тлетворное дыхание Бутырской тюрьмы...

Я помню один дом рядом с Миусским сквером, разлапистый и странный, с чередой арок и проходов, освещенных ночью маяками-лампами. Я часто ходил через его внутренние дворы, возвращаясь домой, и дом этот запомнился мне навсегда, как моя первая пешеходная любовь.

Другие машины, приземистые и вспыхивающие чужой краской, стоят теперь в его дворах.

Эти места совершенно петербургские. В них воздух Москвы мешается с другой, придуманной культурой.

Теперь-то этот район подорожал, взметнулось элитное жилье. А при старом календаре, напротив, наискосок через перекресток, в угловом магазине из окошечка в стене выбрасывали в очередь глазированные сырки. Сырки эти пропали надолго, снова появились, ароматизировались разными добавками, набрались, как дети – неприличных слов, разных консервантов. Тут всё путается. Всё сложно – и не поймешь, что додумал, а что было на самом деле. Память вообще очень эффективный генератор исторических событий.

Не так давно произошла история, казалась бы, незаметная, но важная, как падение Берлинской стены. Закрылась старая фабрика «Дукат» в Москве и открылась новая, где-то на Каширском шоссе. Что станет с прежними краснокирпичными корпусами этой фабрики, я

не знаю. Неизвестно мне также, уцелел ли клуб этой фабрики, где в забытые времена дергали за струны гитароподобных инструментов подпольные рок-группы.

Я жил тогда неподалеку и ходил по этой улице мимо длинных табачных фур, набитых нерезаными листьями. Выглядывали из-за высокого забора какие-то изразцовые стены, бежевые да зелёные. Пахло коричневой дурман-травой, текло сыпучее, как табачная крошка, время.

Работники фабрики выбрасывали неудачные сигареты.

Мы подобрали одну из них, чрезвычайно длинную, протяженностью в метр, и устроились в чужом подъезде. Мы сидели с этой сигаретой у окна, как киллеры с одной на всех снайперской винтовкой. Горящий конец чудо-папиросы смотрел во двор, где шелестело детство. Потом пришла пора табачных бунтов, перевернутых троллейбусов, разбитых сигаретных ларьков. Потом «Кэмел» из роскоши превратился в карманного завсегдатая. Потом, как стремительно горящий «Беломор», скурили прежнюю власть, потом дымом подернулась вся история.

Это сейчас стареющие люди вспоминают сигареты «Упман», что, говорят, раскупали быстрее других дешевых. И всё это «упман суперфинос фильтрос эмпресса кубано дель табакос» звучит сладкой музыкой в ушах, как опознаватель, как пароль открывает тебе двери знание того, что «Лигерос» раньше назывались «Смерть под парусом», как и то, что их папиросная бумага была сделана из сахарного тростника и казалась сладкой на вкус.

Бренчат в копилке памяти «Астра», что звалась «Астма», «Дымок», что был «Дым-стон». Много чего было, а традиция кончилась – сейчас при тысяче сортов водки ее названия мало кто знает, она, потеряв способность оборачиваться «Коленвалом» и «Андроповкой», снова вернулось в хтоническое состояние «просто водки».

Был такой замечательный ром «*Gavana Club*». Причем брал он не крепостью, а токсичностью. В те самые времена, когда не отзвенел еще горбачевский указ, спиртное продавали по талонам. Суровые женщины, хозяйки кассовых аппаратов, отрезали талон и пробивали чек на две бутылки.

Это были две любые бутылки, то есть отчетности было неважно, брал ли ты две по пол-литра или две по 0,75.

Тогда-то в наше отечество и завезли этот самый кубинский ром.

Мне говорили, что завезли его только в столицы, поэтому провинции достались только сигареты «Лигерос».

А фабрики «Дукат» лет пятнадцать как нет. То есть она есть, только приобрела фамилию через дефис и переехала.

Но старый ее мир исчез, превратился в папиросный пепел империи, о котором все так много говорят.

Марина Москвина Мой тучерез. Дом 10 в Большом Гнезниковском переулке

Ну – я дотянула. Сколько раз собиралась написать про свой дом, как все детство провела на крыше. А теперь ему – сто лет! И музей Москвы его уважил – к столетию первого московского небоскреба, знаменитого Дома Нирнзее в Большом Гнезниковском переулке, устроил выставку «Московский тучерез».

В 1912–1914 годах зодчий Эрнст Карлович Нирнзее воздвиг небывалую громадину – десятиэтажный доходный дом (дом дешевых квартир, дом холостяков, «каланча», дом-крыша), вместивший в себя такое обилие событий, что его история кажется неправдоподобной. Легче сказать, чья нога не коснулась метлахской плитки на полу подъездов этого дома, чем озвучить имена людей, голоса и шаги которых звучат и поныне в его гулких коридорах. Неважно, прожил ты в этом доме жизнь или ненадолго снял угол, ютился на антресолях у знакомых или заглянул на огонек, любовался закатами в кафе «Крыша», снимал фильмы под звуки фортепиано – на верхотуре когда-то был оборудован павильон «Киночайка», – шутил и танцевал в подвальном кабаре «Летучая мышь» или, волнуясь, возносил к небу рукопись в издательство на «голубятне» – надеясь, что она превратится в книгу и останется жить в веках.

Знать бы заранее об этой выставке, с какой любовью здесь будут преподносить каждую сохранившуюся фотографию, документ, воспоминание – да я бы столько всего принесла, накопленного, сохраненного мамой моей Люсей, дедом Степаном Захаровым, бабушкой. Сундук на балконе – полный их рукописей, альбомов фотографий с начала XX века! Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые... Еще полвыставки осталось за бортом из-за моей нерасторопности, а все равно – какая она теплая, насыщенная, согревающая сердце.

Виды на Москву с высоты птичьего полета, пожелтевшие театральные программки (жаль, не хватает котелка директора «Летучей мыши» Никиты Балиева!), трогательные артефакты, потускневшие от времени, радиола, патефон, оранжевый абажур над обеденным столом, ручки от старинных кушеток – с львиными головами, плюшевый медведь и платье, господи, платье пятидесятых годов сестры воспитательницы детского сада на крыше – черное с белым отложным воротничком и манжетами... Трогательные судочки – пирамидка из трех кастрюль, с ней одинокие квартиранты в шлепанцах и полосатых пижамных брюках шествовали в домовую кухню за теплым обедом, ватные Деда Морозы и елочные игрушки – пионеры, красноармейцы, летчики, хоккеисты, космонавты... «Фирменные» водопроводные вентили и до боли знакомая старожилу белая фаянсовая ручка в виде капли, свисавшая на веревке с бака над унитазом.

Там, в музее, наконец-то мне удалось обрести королевский подарок, полученный Домом к своему столетию, – второе издание захватывающей, уникальной книги «Дом Нирнзее» Владимира Бессонова и Рашида Янгирова, исследователей истории, да что там – живой жизни этого фантастического сооружения, – богемной, бурной, театральной, «киношной», музыкальной, литературной, цыганской, вольной, ресторанной, и тут же – революционной и эмигрантской, предвоенной, военной, «оттепели», «застоя», «перестройки»... И судьбы, судьбы обитателей, их взлеты и низвержения, сюжеты любви и разлук, надежд, которым было не суждено сбыться, пики счастья и вершины трагедии тех, чья слава не померкла с годами, и тех, что материализуются из небытия под пером авторов, которые осторожно переплетают реальность и мифы Дома-корабля, Дома-призрака, Дома-океана с очевидно присутствующими ему космическим сознанием и памятью.

Теперь я точно знаю, что он тоже помнит меня, этот дом, где на Крыше осталось мое детство. Именно на Крыше, с большой буквы, на плоской кровле громадного Дома – она заменяла жильцам двор. Там были клуб, клумбы, качели, волейбольная площадка. Мы разъезжали по крыше на роликах и велосипедах. А вечерами в клубный телескоп разглядывали звезды и планеты.

Тогда это казалось чем-то обычным, само собой разумеющимся, и то ликование, которое ты испытывал, когда взлетал на качелях над Москвой, проносился в небе на самокате или пел в хоре, паря над городом, считалось обычным делом. Но через много лет я узнавала это ощущение в приступе вдохновения, в объятиях возлюбленного или взбираясь по отрогам высоких Гималаев, чувствуя под собой горячую спину лошади, всплывая к облакам на аэростате или прижимая к груди свою только что вышедшую из типографии книгу, новорожденного сына... и дальше по списку.

Говорят, после революции в Доме селились одни партийцы. Да нет, в любые времена кто здесь только не жил и не бывал! Среди первых большевистских жильцов дома присутствуют даже таинственные члены Ордена тамплиеров (читаем мы у Бессонова, Янгирова), в квартире бывшего торгпреда СССР в Англии Н. Богомолова на пятом этаже происходили их тайные совещания и посвящения. Ходят слухи, сам архитектор Нирнзее был теософом и умышленно затеял это строительство, желая отыскать золото тамплиеров, зарытое в Гнезdnиках.

В год рождения моей мамы Булгаков знакомится тут со своей второй женой, а потом и с третьей! Дом 10 называет он «заколдованным домом». Мастер из одноименного романа Булгакова идет за еще незнакомой Маргаритой, судя по описаниям, явно в Гнезdnиковском переулке.

Напротив квартиры поэта и художника Давида Бурлюка гостил Маяковский. Сам Председатель Земного Шара Велимир Хлебников, поэт и ясновидец, размышлял тут о судьбах человечества, о том, как покончить со всеми войнами, с войной вообще и объединить континенты, выстраивал грандиозную концепцию «Всемира».

Вид на Москву с нашей крыши легко узнаваем у Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина Катаева...

Мой дом – «башня из слоновой кости», испокон века населенная интеллектуалами всех мастей, инженерами, философами, врачами, журналистами, актерами, учеными, футуристами, аэронавтами, даже одним замдиректора Музея фарфора! Возможно, именно здесь, на пятом этаже, архитектор Григорий Бархин спроектировал здание «Известий». Как выяснилось, «дедушка Гриша» с внуком – будущим художником Сережей Бархиным – чуть не у наших на потолке громоздили корабль из кресел, тумбочек и табуреток.

Моему брату Юрику был год, когда в доме поселился Юрий Олеша, он писал тут книгу «Ни дня без строчки». На моей памяти по соседству с нами в квартире 422 жил артист Владимир Володин, знакомый зрителю по кинофильмам «Кубанские казаки», «Волга-Волга» и, конечно, «Цирк». Это он катался на трехколесном велосипеде по манежу, неустанно напевая: «Весь век мы поем, мы поем, мы поем...» И под колыбельную «Спя-ят медведи и слоны...» укачивал негритенка Джима Паттерсона, который не раз приходил играть с Юриком, а когда вырос, то стал поэтом.

На десятом этаже было издательство «Советский писатель». Отправляясь гулять на крышу, мы сталкивались нос к носу в лифтах, на лестнице и в коридоре с легендарными личностями, ходячими легендами, которых потом будем изучать в университете, но кто да кто движется тебе навстречу и отвечает на твое «Здрасьте!», для нас пока оставалось тайной.

Огромные издательские окна смотрели на крышу. Однажды летом мы играли в двенадцать палочек. Игра вроде прятков, но выручаться надо, стукнув ногой по доске. С доски падают двенадцать палочек. Пока ты их подбираешь, все снова прячутся. В тот день мне страшно не везло, я эти палочки собирала раз восемь. Вдруг из окна издательства шагнул на крышу человек. Он был в очках, костюм с жилетом, в кармане на груди платок, как дирижер. И он сказал:

– Чур на новенького.

– Вот вы и водите, раз на новенького.

– Я и буду, – ответил этот человек.

Он собрал палочки, сложил на край доски, тут ему крикнули:

– Кассиль, где вы?

– Зовут, – он сказал и ушел. Обратно в окно. Это был швамбранский адмирал, автор «необычайных приключений двух рыцарей, в поисках справедливости открывших на материке Большого Зуба великое государство Швамбранское».

Одно из первых изданий «Кондуита и Швамбрании» подарил моей маме сам Лев Кассиль. В начале тридцатых на крыше устраивали грандиозные футбольные чемпионаты окрестных дворов и переулков. Их непременным участником бывал такой же, как моя Люся, футбольный фанат Костя Есенин, сын Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.

На матчах Люся бегала «заворотным хавом» или «загольным кипером» – так называли подающего мяч футболистам. Если мяч вылетал за ограду и падал вниз, лифтерши по таким пустякам лифт не гоняли, и Люся съезжала по перилам или спускалась по железной пожарной лестнице, которую я уже не застала. Особым шиком среди ребят считалось перелезть через ограду и гулять по карнизу над бездной. «А кто боялся, того все считали слабаком, и мы до сих пор помним их имена», – сказала служившая на войне в десантных войсках, чудом уцелевшая подруга Люси Галя Полидорова.

Однажды во время футбольного матча вратарь получил травму. Ворота заслонил «загольный кипер» и не пропустил ни одного мяча. Почетным членом жюри был Лев Кассиль. Он вручил кубок победителям и спросил: «А что, ваш вратарь – девочка?» «Да, бывший заворотный хав, голкипер Захарова». Тогда-то и получила мама в подарок от Кассиля «Кондуита и Швамбранию».

Люся родилась в этом доме. Ее родителям в 1922-м дали тут комнатку после череды событий, которые легли в основу моего романа «Мусорная корзина для Алмазной сутры». Вкратце перечислю. Степан Захаров: с десяти лет – рабочий мастерских сапожных гвоздей, потом чаеразвесочной фабрики Губкина – Кузнецова у Рогожской заставы – Степа заворачивал чайные листочки в цинковую бумагу, цинк разъедал пальцы, и все там чахли молодыми, в развеске Губкина – Кузнецова, наглотавшись чайной пыли. Но Степа и не думал чахнуть: в декабре 1905 года он столь яростно бился на баррикадах, что дальше пошло-поехало: аресты, тюрьмы, солдатчина, снова арест за побег из крепости Осовец Гродненской губернии, потом ему забрили макушку в Сольвычегодске, три года каторги, в скотовозе отправили в Рыбинск и – поминай как звали – на Румынский фронт!

В 1917-м, когда все ячейки и тайные коммуны вылезли из щелей, вытащили спрятанные под полом ружья и «парабеллумы», завернутые в рогожку и промасленную бумагу, был среди этих отчаянных голов и Степан, рядовой 121-го Пензенского пехотного полка, влившегося в 4-ю армию Западного фронта Бессарабии. Немецкие войска разгромили румын, и тогда им на помощь бросили русский пехотный полк, в том числе политссыльного запевалу из 5-й дисциплинарной роты Захарова. Ой, как он пел солдатские песни: «Лагерь – город полотняный, и горе морем в нем шумит...»

В московском восстании Степа возглавил батальон самокатчиков, ему выкатили велосипед, он уселся на него – это был складной самокат системы Жерара. И в октябре 17-го

на своем железном коне ураганно проскакал по Москве. Кое-кто сообщает в мемуарах, что Захаров дрался с юнкерами, засевшими в Крутицких казармах и Алексеевском военном училище. Другие отчетливо наблюдали его долговязую фигуру, открытую всем ветрам, в распахнутой, не по размеру шинели на баррикадах в районе Пресни. Н. И. Бухарин, бывший одним из руководителей московского мятежа, вспоминал, что «на Тверском бульваре во время атаки был ранен мой старый товарищ Степан Захаров». (С Бухариным Степа соседствовал в Таганской тюрьме, тот его образовывал по части материалистического понимания истории, при этом свою камеру Н. Б. изрисовывал портретами Маркса, доводя до исступления надзирателя, которому приходилось драить казенные стены от несмываемого бородача.)

С Фаиной дед встретился той же осенью в штабе Красной гвардии Бутырского района, естественно, он там был самый главный. Мою раскрасавицу-бабушку, сестру из общины Лилового креста (она жила в доме Федора Шаляпина на Садовой и лечила всю его семью), в разгар московского мятежа начальник госпиталя послал подбирать раненых на улице под пулеметным огнем. Шесть сумрачных дней и ночей она таскала раненых и убитых, волокла на шинели к санитарному автомобилю, оказывая всем без разбору медпомощь, как ее учил профессор Войно-Ясенецкий. При этом до того себя доблестно проявила, что Семашко направил ее в медсанчасть того самого штаба, где мой воинственный дед влюбился в нее, сраженный красотой. Она же утверждала – особенно когда они развелись (влюбчивого Степана увела у Фаины донская казачка Матильда), – что вышла за него из жалости, уж больно он был взъерошен, рыж и конопат, даже пятки, она говорила, у этого черта рыжего были конопатые, и такой худой, что просто кожа да кости.

В 1919-м Захаровых направили освобождать Крым от Врангеля и Деникина, Степана – секретарем обкома ВКП (б), Фаину – начальником госпиталя. Два раза Красная армия в Крыму отступала с колоссальными потерями. Дважды Фаина формировала эшелоны – отправляла раненых бойцов и больных сыпным тифом в тыл. Оба раза – лично – по несколько месяцев сопровождала до Москвы переполненные санитарные поезда под обстрелом и бомбежками. В 1920-м Степан был прикомандирован к 46-й дивизии 13-й армии, той самой, которая брала Перекоп и форсировала Сиваш. Фаина готовила съезд третьего конгресса Коминтерна, в кожаной тужурке с «маузером» на бедре возглавляла в Москве борьбу с беспризорностью. После победы над Врангелем Степу, на сей раз легально, назначили секретарем Рогожско-Симоновского райкома (в 1912-м он занимал этот пост в подполье), а также членом бюро Московского комитета ВКП (б), и заселили в «ячейку» № 430 дома 10 по Гнездниковскому переулку, где кроме них обитал управляющий трестом «Полиграфкнига» Н. Алмазов с семьей. С жилплощадью в Москве было туго, а тут много разных закоулков, надстроек, каких-то полостей на черной лестнице. Ютились, теснились, никто не роптал. Юность Захаровых пролетела без крыши над головой, без твердой земли под ногами, под грохот и лязг колес, гул аэропланов, удары взрывной волны. Вши, голод, сыпной тиф, мешочники, бандиты, мародеры, тени погибших городов. А тут – квартира на Тверской, из окна видно памятник Пушкину. Словом, спустя девять месяцев у них родилась дочка.

А «Тучерезу» исполнилось десять лет.

И я вам так скажу: если бы его судьба на этом завершилась, то он все равно вошел бы в историю не просто Москвы, но – мира, ибо все дороги ведут не столько в Рим, сколько в высотку Большого Гнездниковского переулка.

Дом строился на холме и возвышался над Москвой, как бы перекликаясь с высокой колокольней церкви Николы в Гнездниках. Мощная, прихотливо изломанная линия, серая плитка фасада расчерчена красными вертикалями, верхний этаж украшен орнаментом, гирлянды цветов оплетают его, и эти цветы – редкие орхидеи! – выполнены из добротного камня! С боков дом украшен барельефами чуть не роденовских «мыслителей». А уж на самом верху красуется майоликовое панно «Лебеди и русалки» художника Головина...

Перегородки и перекрытия сделаны из лиственницы! Хотя московский брандмайор еще в 1912 году предупреждал, что столь высоченное деревянное строение сулило пожар за пожаром, но вот пролетела сотня лет – и ни одного пожара. Громадные окна, продольные и поперечные коридоры, высоченные потолки! Со временем Захаровы переселились в отдельную «каюту» за № 421, Фаина выписала мать из деревни, и бабушка Груша у них обустроилась на просторных антресолях.

Груша катила коляску с внучкой по крыше и обмирала от высоты. Кусты персидской сирени в больших кадках источали терпкий аромат. Внизу простиралась Москва, по бульвару гуляли лилипуты, на Тверской громыхали редкие трамвайчики, аэропланы кружили над Ходынкой. Жизнь ей казалась сном, только одно она твердо знала: девочку надо окрестить. Но богоборец Степан вместо крестин затеял «октябрины». Груша нажарила пшениных оладий с грибной подливкой на той же чугунной сковороде, которая у меня и сейчас в строю, бессменная и доподлинная, – уж больно до революции делали нетленную хозяйственную утварь.

Стали подходить гости – фронтовые друзья Степана, с которыми Захаровы воевали в Крыму, военком А. Могильный, Витя Баранченко – Фаина ему в Мелитопольском госпитале раны залечивала. «Эта парочка, – рассказывала Фаина, – где-то раздобыла длинную палку копченой колбасы. За ними ввалился Ваня Лихачев. Батюшки мои! С тортом!» Лихачев – будущий директор автомобильного завода «АМО», позднее завод переименовуют в завод имени Сталина – «ЗИС», а там и в «ЗИЛ» – завод Ивана Лихачева, соседа Захаровых по дому-крыше.

Курили у окна, заглядывали вниз в переулок – с четвертого этажа видна часть бульвара с памятником Пушкину и краешек Страстной площади. Приехали Дольский, Карпухин, Шумкин, будущий нарком просвещения Андрей Бубнов – когда-то Захаров имел с ним плодотворное общение через отдушину в Таганской тюрьме, А. Б. ему лекции читал по литературе, истории, философии, натаскивал по немецкому языку и как школьника гонял по заданным урокам. Теперь они снова были соседями.

Герц подъехал на извозчике. Герц – партийная кличка Дмитрия Ульянова, со Степаном они прошли Первую мировую и Гражданскую, но неразрывно спаяла их страсть к шахматам. Раз как-то сам Ленин стал свидетелем их игры. Степа заволновался, не с той фигуры пошел. Светоч революции ахнул: «Непростительный промах! И кому проиграл – такой шляпе!»

Да, Дмитрий не был застрельщиком, как дерзновенный и бойкий Владимир Ильич. До революции служил врачом в Таврическом земстве. Кто-то назвал его «красным кардиналом» – младший брат Ленина смахивал на кардинала Ришелье из «Трех мушкетеров»: те же усики и борода цвета сохлой травы, благородный облик, солидный словарный запас. У Степы хранились его трактаты: «Улучшение обеспечения жителей Таврической губернии пресной водой», «Финансирование профилактики мероприятий для снижения заболевания на Крымском полуострове тифом, туберкулезом и холерой» и другие толково составленные руководства по избавлению от глада и мора. Он пекся о телесном здравии крымчан, изобилии пшеницы, умножении скота и не в последнюю очередь – виноделия: Дмитрий Ильич выпивал. Это следует из многих источников, Степа в ста случаях из ста составлял ему компанию, что, видимо, послужило причиной отзыва Дмитрия Ильича из Крыма в 1921 году в Москву на работу в Наркомздрав.

Ульянов-младший явился нарядный, в жилете, шелковом галстуке – с букетом лиловых ирисов.

– Из оранжереи Рейнбота, – сказал, вручая Фаине цветы.

Горки до революции принадлежали Рейнботу, московскому градоначальнику.

Груша привезла из деревни самогон. Стаканчик за стаканчиком – стали перебирать имена. Степа ждал сына, хотел назвать Степаном, «чтоб наш Степан Степанович Захаров

дожил до коммунизма». Ладно, Шумкин (партийный псевдоним Фуфу) предложил назвать девочку Марсельзой, Степан бредил самолетостроением и склонялся к Авиации, а Бубнов (Химик Яков) – к Александре в честь Пушкина. Все посмотрели на Степину дочку – физиономия сплошь в веснушках, из-под чепца торчат красные волосики, глаза скосила и погрузилась мыслями в себя.

– Александра не подходит, – махнул рукой Дмитрий Ильич. – Но есть другое имя, тоже пушкинское! Вон как она «возводит светлый взор»...

И продолжал под общий хохот:

Людмила светлый взор возводит,
Дивясь и радуясь душой...

Дмитрий Ильич поднял наполненный граненый стаканчик. В подтверждение «октябрин» был составлен «исторический документ»:

1923 года 17 июня мы, нижеподписавшиеся, собравшись на заседание под председательством Дмитрия Ильича Ульянова для обсуждения вопроса, как назвать родившуюся 3 июня 1923 года девочку, постановили после всестороннего обсуждения и различных докладов назвать ее Людмилой. Родителями единогласно признаны Ст. Ст. и Ф. Ф. Захаровы. Отцом крестным избран под гром аплодисментов Дмитрий Ильич Ульянов, которому поручается наблюдение за воспитанием Людмилы и о последующем извещать собравшихся.

Вышесказанное подтверждаем: председатель – Дм. Ульянов... – и четырнадцать подписей.

В начале августа Д. Ульянов на автомобиле «Делонэ-Белльвиль» с шофером Ленина Гилем возил Захаровых в Горки. Степан играл в городки с Гилем и купался в Пахре, Фаина гуляла в парке, а Дмитрий Ильич носил нашу Люсю показывать брату – тот, уже слабый и больной, «одряхлевший лев», рассказывала потом Фаина, которая наблюдала за ними из-за деревьев, не смея приблизиться, сидел на скамейке с сестрами.

Дома под стеклом над письменным столом у нее всегда висел его портрет – в люстриновом черном пиджаке, – сделанный фотографом Оцупом. Мы выросли под этим портретом – сперва Люся, потом Юрик, ну и я тоже. (Правда, мы с Юриком уже росли не только под бабушкиным Лениным, но и под Люсиным Хемингуэем.)

Когда «лев» устал от вращения Земли и душа его вознеслась в эфир – Степа оказался в гуще вселенской похоронной церемонии. Шесть бессонных ночей, на сто лет вперед прокуриив квартиру в Гнездиновском, он обдумывал стратегию движения кустовых групп от Рогожско-Симоновского района на Красную площадь числом около пяти тысяч, составлял планы, карты, бюллетени, вычерчивал схемы и диаграммы, по минутам назначая фабрикам и заводам, кто к кому и когда обязан пристроиться в хвост, а кого держать в затылке, сколько человек в шеренге (восемь), оптимальное расстояние между шеренгами (один шаг), скорость движения – три версты в час. И особое предписание начальникам делегаций организовать надежную связь вдоль своих колонн в виде одиночек-велосипедистов.

«Итак, на похороны Ильича район направляется по следующему маршруту, – писал Захаров красивым размашистым почерком с нажимом, лиловыми чернилами. – Таганка, Астаховский мост, Солянка, Варварская площадь, Лубянский проезд, Лубянка, площадь имени Свердлова, площадь Революции, проезд между Историческим музеем и Кремлевской стеной, Красная площадь, Варварка, Солянка и обратно. Ввиду острого мороза все участники указанного шествия должны одеваться тепло. Теплое пальто, валенки, шапка, закры-

вающая уши, шерстяные варежки – принимая во внимание, что на Красной площади придется простоять от 1–2-х часов... Партийным ветеранам и восходящей молодежи, – чисто по-человечески просил Степан, – необходимо поддерживать строгий порядок, помня, что на нас возлагаются большие надежды в смысле дисциплины, во избежание давки».

Степан был членом ВЦИК и ЦИК СССР, делегатом бесчисленных съездов партии, Всероссийских съездов Советов и конгресса Коминтерна. Историк и писатель В. Баранченко говорил: если б Степе Захарову дали возможность учиться, из него бы вышел академик, не меньше этого! В январе 1925-го, выступая на Московской губернской конференции, Степан заявил: «Сталин говорит одно, а думает другое». Рассказывают, что Сталин взял слово, попросил стенографистку выйти и, не выбирая выражений, разнес в пух и прах Захарова. Степа выскочил из зала, спустился в буфет и хватил стопку водки. Сталин вышел следом и бросил мимоходом: «Поделом, не будешь лезть наперед батьки в пекло».

Степан был выведен из бюро райкома партии, освобожден от должности секретаря, его «ссылают» на Кавказ: секретарем окружкома Ставрополя, потом Таганрога, Пятигорска, Ростова-на-Дону. В 1934-м со «строгачом» по нелепому обвинению выгоняют с должности секретаря Новороссийского горкома и вызывают в ЦК. По дороге в Москву его полуживого снимают с поезда с крупозным воспалением легких. Спустя несколько месяцев родные отыскали его на заброшенном полустанке в сельской больнице. Он долго болел. У него другая семья, неопределенные место жительства и род занятий, дед особо «не светился», но повсюду, куда его забрасывала судьба, устраивал курсы ликбеза и открывал избы-читальни, его возмущало, что в Америке Эйнштейн уже открыл теорию относительности, а в России две трети населения неграмотные. Единственное, что он возглавил за пять предвоенных лет, – рижский завод «Промутиль», реорганизовав его в трикотажную фабрику. Словом, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как заявил мне один Люсин приятель: «Твой дедушка, Марина, был хитрый большевик. Он обвел вокруг пальца Сталина, Берию и Ежова». (А Юрий Никулин, когда я ему показала фотографию Захарова – они были знакомы по дачному поселку в Кратове, – воскликнул: «Степан Степаныч? Твой дед? Это ж мировой был мужик!»)

Жители бывшего дома Нирнзее, переименованного в 4-й дом Моссовета («Чедомос»), еще сушили белье на крыше и выбивали ковры, дети играли в «казаки-разбойники», посещали кружки бальных танцев и лепки, сооружали на крыше автомобиль, выпускали стенгазету, издавали рукописный журнал, публиковали свои первые стихи и рассказы. Они придумали себе утопическую «Республику Чедомос», где шел напряженный поиск диалога с миром. Там царило жизнеутверждающее, космическое, творческое начало: ты не мог, родившись в этом доме, например, не петь в хоре, или, что касается меня – опять же на крыше я играла Наф-Нафа в «Трех поросятах».

А они вот с этих самых лет уже готовы были защищать свою «республику», а заодно и живой, пульсирующий мир, который открывался им с высоты. Мальчишки и девчонки вырезали себе деревянные ружья, по карте следили за войной в Испании, учились стрелять, бегали с противогазом, носилками, осваивали противовоздушную оборону, всем домом вступили в «Осоавиахим», у Люси сохранились значки ГТО, ГСО, ПВО, ЗАОР, «Ворошиловский стрелок», листочек с азбукой Морзе – предчувствие войны висело в воздухе.

В 1937-м вольный дух поднебесной «республики» сочли подозрительным, что-то пушкинское неискоренимо витало на крыше, недаром здесь любили бывать поэты и осенил нашу крышу своим присутствием Председатель Земного Шара Хлебников. Детский клуб распустили. Чтобы на крышу не просочился какой-нибудь залетный шпион, закрыли смотровую площадку. Рина Зеленая рассказывала мне: она когда-то в кабаре «Летучая мышь» изображала ресторанную певицу и раздобыла себе для этого огромный надувной бюст. Она

его надувала, выходила и пела: «В царство свободы дорогу грудью, ах, грудью проложим себе...» Потом сдувала, прятала в карман и бежала выступать в кабаре «Нерыдай».

В тридцатых о подобных вольностях уж не было и речи. «Летучая мышь», взмахнув крылами, давно покинула Гнездниковский, а в опустевший подвал в кибитках въехали таборные цыгане. В канун Нового 1931 года Моссовет по ходатайству оргкомитета мобилизует Фаину Захарову на «выправление партийной линии» первого цыганского театра «Ромэн». Пару лет Ф. Ф. что-то там безуспешно выправляла, а потом всю жизнь гадала на картах, заваривала крепкий цыганский чай, любила ландрин, вспоминала, как ее подопечные, которых она тулила в партию, на вопрос о профессии неизменно отвечали: «Конокрад», каким донжуаном был драматург И. Ром-Лебедев, и вечно напевала романсы: «Ромны-Ромны, красавец мой...»

Меж тем каждую ночь к «Чедомосу» подкатывали черные «маруси», а утром беспроволочный телеграф разносил вести об очередном исчезновении соседей. Исчезали по одному и целыми семьями. На седьмом этаже обитал прокурор Андрей Януарьевич Вышинский, толпами отправлявший людей на расстрел. В целях самосохранения «Ягуарыч» приватизировал лифт. У двери его неотлучно нес вахту охранник. «В 37-м по канализационным трубам нашего дома шла запрещенная литература, засоряя время от времени канализацию», – вспоминают старожилы. Бессонов и Янгиров приводят список репрессированных – с номерами их квартир, как это значится в документах НКВД. Треть жильцов дома. По нашему четвертому этажу: 425, 428, 429, 430 (Алмазов!), 432... Как будто кто-то невидимый с пулеметом выкашивал соседей, сапогом выставляя двери, вдоль которых Люсины сверстники раскатывали в коридорах широкие лозунги: «Дети – цветы жизни!».

С крыши «чедомосовцы» наблюдали, как меняется Москва: сносили и передвигали дома, превращая узкую Тверскую в широкую улицу Горького, на месте разрушенного Страстного монастыря появились кинотеатр «Россия» и сквер с фонтаном, куда переехал с бульвара Пушкин. Люся видела с крыши, как потерпел катастрофу огромный четырехмоторный самолет «Максим Горький». В праздники мимо Дома двигалась военная техника на Красную площадь, ребята на крыше «принимали парады». А когда по улице Горького проезжали Чкалов, папанинцы и другие герои, с крыши бросали вниз поздравительные открытки.

В июне 1941-го Люся сдала последний школьный экзамен. После выпускного бала они до утра гуляли по Красной площади и Тверскому бульвару, нарядные, сияющие, влюбленные, Люся – в «ашника» Диму Сарабьянова, музыканта, поэта, легкоатлета, Женя Коршунов с Колей Денисовым – в «Ляльку» Энтину, Коля Раевский, Сонечка Кержнер, Милан Урбан...

Наутро объявили войну. Мальчиков сразу призвали в армию. Люся и Люба Соловьева подали заявления в военкомат. Пока ждали повестки, устроились на курсы военных медсестер в особнячке на Малой Бронной. Практика – в Филатовской детской больнице. Во время налетов они перетаскивали младенцев из палат в бомбоубежище, в подвал. «Наваливали их нам на руки, как дрова, – говорила Люся, – и мы бежали по синим от маскировочного освещения коридорам и крутым ступенькам в преисподнюю. Окна дребезжат, сердце колотится, только бы не споткнуться, не уронить спеленутые теплые бревнышки. И что удивительно: пока мы их тащили – они не кричали, не плакали – затаивались...»

Каждую ночь один или несколько бомбардировщиков прорывались к Москве. В ночь на 22 июля небо от самолетов было черное. Первый массированный налет. Люся говорила, ничего страшнее она вообще не видела – даже на фронте. В бою другое дело, говорила моя нежная Люся, ты – с оружием в руках, вы с противником на равных. А тут – полная безысходность. Хотя в доме была сформирована группа самозащиты. Особое звено следило за светомаскировкой. Не дай бог оставить в окне хотя бы щелочку света. Ребята провели по дому сигнализацию, оповещавшую жильцов о налете вражеской авиации. После чего все организовано спускались в бомбоубежище в подвал «Ромэн». Сто человек из дома ушли на фронт.

Многие оставшиеся были одинокие, немощные люди. За ними закреплены «проводимые». На крыше – спецпост, где наравне со взрослыми дежурили подростки. Люся, разумеется, в их числе, во время бомбежек они гасили «зажигалки». Хватать их следовало перчатками или клещами и тут же совать в бак с водой или с песком, иначе разгорится пожар. Однажды бомба упала возле самого дома. Воздушной волной сбило с ног дежурных, выбило стекла в окнах, но, по счастью, бомба не разорвалась.

Дом, как мог, хранил своих обитателей.

Ближе к весне в медучилище на Бронной попала бомба. Занятия прекратились. Тут как раз пришло время для девушек-добровольцев. Много людей погибло в начале войны – первой из одноклассников Сонечка Кержнер, Любин брат Гоша Соловьев, Женя Коршунов с Колей Денисовым, Коля Раевский, Милан Урбан...

В апреле 42-го Люся с Любой получили повестки. Двадцать тысяч москвичек пришли на сборные пункты. Распределяли – в штаб полка, во взводы управления, в аэростатчики и прожектористы, в разведчики и связисты. Но все это, Люся говорила, не для нас. Только в зенитчицы – сбивать фашистские самолеты. И вот пару десятков девушек – еще в своем, гражданском, – привезли на 23-ю батарею 251-го полка 53-й дивизии Центрального фронта противовоздушной обороны в Филях, недружным строем подвели к ограде из колючей проволоки, за ней громадные орудия, нацеленные в небо. «Куда вас, таких молоденьких, – из-под пушек гонять лягушек?» – смеялись солдаты. Ничего, их одели в солдатские брюки и кальсоны, мужские рубашки с завязками, в шинели не по росту, на ногах американские ботинки с обмотками.

«Мы были форменные чучела, – говорила Люся. – Но тут уж никто не смеялся, наоборот, орудийщики всячески помогали нам обрести приличный вид, укорачивали шинели, учили накручивать обмотки и портянки, пришивать подворотнички».

Круглые сутки – и в снег, и в туман с дождем, – дежурный с биноклем пристально вглядывался в глубину небес. И если вражеский самолет – весь личный состав сломя голову бежит к орудиям и приборам, расчеты занимают свои номера. «Дальномер, высоту!» Люся ловит цель, совмещает с ней риску, кричит: «Высота такая-то! Дальность такая-то!»

Оказалось, на дальномере могут работать редкие люди, обладающие стереоскопическим зрением. Это все равно что играть на скрипке, говорила Люся. Из двадцати человек только у нее и Давыдовой Тони оказалось подходящее зрение.

«И еще дальномер мне дарил общение с космосом, – говорила Люся. – Ведь настраивать и выверять его надо было по звездам и по Луне. Смотришь на небо в этот огромный, четыре метра шириной, бинокль с 24-кратным увеличением и видишь на Луне кратеры и моря, видишь кольцо Сатурна, спутники Юпитера – и все это стерео, в объеме! Знаменитая труба Галилея – ничто по сравнению с дальномером...»

Дальномерщикам должны бы выдавать допнак (не давали!), ибо от их таланта и настроения зависела точность определения высоты и дальности цели.

Мне кажется, в такие минуты Люся думала о нашем Доме, она его очень любила.

Потом мы переехали в Черемушки, но всякий раз, когда я и Люся гуляли по «Твербулю», она смотрела на крышу и разговаривала с Домом. Теперь я тоже так делаю. Никто из нас не хотел оттуда переезжать. Даже мой папа Лев, дипломат – считай, новобранец в Доме, – гордился Крышей и приводил туда дорогих ему людей со всей Земли – показывать Москву. Хотя мы впятером жили в одной комнате. Но когда кто-то являлся посмотреть нашу квартиру, мы дружно пугались. Раз к нам по старой памяти заглянула прима «Ромэна» Ляля Черная. Они с мужем, актером МХАТа Михаилом Яншиным, вздумали перебраться поближе к своим театрам.

– У-у, – низким грудным голосом разочарованно произнесла цыганка Ляля, оглядев нашу крохотную кухню и туалет, похожий на бочку Диогена. – У вас тут Яншин не поместится в уборной!

И мы наивно радовались: еще немного побудем с нашим домом, хотя нас звали уже иные дома и пути-дороги... которые вновь и вновь приводят меня сюда. И я захожу, охваченная священным трепетом, просто побродить по коридорам, потоптаться у своей двери и с черной лестницы сквозь запыленное окно поглядеть на крышу, она ведь закрыта много лет...

– Вы настоящая «нирнзеевка»! – сказал мне Бессонов.

Точно, Владимир Александрович, дорогой Вы мой, да хранит Вас наш Дом, только продолжайте свою летопись, и с каждым новым изданием пускай Ваша книга становится все объемней!

«Прошлое – это единственное место, где я могу встретить отца», – написала Люся. А дом Нирнзее – это место, где я могу встретить мою Люсю, Таню Бек и Олега Салынского, который совсем недавно обещал вывести меня на крышу из окна «Вопросов литературы», да не успел, и многие родные души ждут меня на Крыше, куда я когда-нибудь обязательно вернусь, несмотря на все замки и запреты.

Марина Бородицкая Дом на Пушкинской

Мне повезло, я жила в самом центре Москвы, на Пушкинской улице, которая теперь называется Большая Дмитровка, и мы гуляли «к Пушкину». И даже когда там было перекрыто движение для демонстраций и «народных гуляний», мы с папой везде могли пройти, потому что у папы в паспорте было написано: «Улица Горького, 12». Это был большой квадрат домов, в просторечии «Бахрушинка» (потому что дома строились по заказу архитектора Бахрушина), ограниченный с одной стороны Пушкинской, с другой – Горького, ныне Тверской, с третьей – Немировича-Данченко (теперь Глинищевский переулок), с четвертой – Козицким переулком. И прописка у всех была одна: Горького, 12. От памятника Пушкину мы глазели на все эти шествия, пытались у памятника пройтись «по цепи кругом», смотрели на мальчишек у фонтана, которые лежали животами на гладком бортике и палками с приделанным пластилином собирали со дна монеты.

Помню, как в старших классах, отгородившись от спящей сестренки дверью шкафа, я писала по ночам сочинения, а из открытого окна слышались кремлевские куранты. Я вывешивалась за окно, держась коленками за подоконник, и смотрела на крышу дома – если бы мама увидела, она бы сразу умерла. Мне было интересно, какие там звезды...

(из интервью)

Мой дом

Мой дом на Пушкинской сломали,
Пустырь забором обнесли,
В пятиугольной нашей зале
Звезду небесную зажгли.

Вдохну вечерний воздух влажный,
Приму столичный, праздный вид,
А в горле ком – пятиэтажный,
Оштукатуренный, стоит.

«Опять, опять дворами, вдоль помоек...»

Опять, опять дворами, вдоль помоек,
Обидою прерывисто дыша,
Вдоль желтеньких бахрушинских построек
Без спросу загуляется душа.

Отброшена взыскательной любовью,
Она утянет тело в те края,
Где в детстве научили сквернословью,
Где не смыкались школа и семья,

Где с крыш зимой съезжали, застревая
На желобе – и знали наперед,
Что вывезет московская кривая,
Бахрушинская лихость пронесет...

И вывезла! до самых новостроек,
И пронесла – над самой пустотой!
Да фиг теперь найдешь среди помоек
Хотя б клочок уверенности той.

Трехпрудный переулок

По скрипучей лестнице взберусь я —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.